



А. А. ФЕТ

**«Что делать? Из рассказов о новых людях»
Роман Н. Г. Чернышевского**

(«Современник» 1863 года за март, апрель и май)

«Нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов»

(«Совр.» 63 года. Апрель, стр. 564).

«Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата... У них нет собственности»...

(там же).

«Все это порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же винить?»

(там же, стр. 565) ¹.

[ГЛАВА ПЕРВАЯ]

Судьбе угодно было заставить нас переживать один из знаменательнейших и интереснейших моментов в нашей народной жизни. Многие из форм этой жизни устарели и настоятельно требовали безотлагательной замены. Такое явление не только не ново, но повторяется в целой природе как коренной закон и непрерывное условие жизни.

Над чем же тут останавливаться, если все идет согласно вечному порядку вещей? Старое падает, новое образуется и восходит. Что же тут особенно знаменательного и исключительно интересного?

Интерес переживаемого нами периода не столько заключается в самих явлениях, несмотря на их громадность, сколько в причинах и форме этих явлений.

История природы, равно как и ход человеческих судеб, приучили наблюдателя к двум формам, присущим всяким переворотам. Мы привыкли в каждой новой форме жизни видеть результат многих совокупных сил, тяготеющих к одному центру. Эту совокупную силу обстоятельств, часто совершенно независимую от воли человека, мы привыкли называть судьбою народов, в противоположность сознательному действию человека,

имеющему главным источником его же собственный свободный дух. Последний образ действий называется служением идее, и если бы вызванные им явления в окончательных результатах и сошлись бы порожденными бессознательной силой вещей, — то это несколько не уменьшило бы громадной разницы между одной и другой причиной известного переворота.

Это одна из форм, присущих переворотам, а вот и другая, вытекающая из первой. Природа не терпит скачков. Если бы весеннее солнце, вызывающее растения к новой жизни, не застало землю покрытую отжившими травами, то это же благодетельное светило иссушило бы землю и убило бы новые ростки при самом их появлении. Высокое древо христианства не вдруг покрыло Европу своею тенью, а в свою очередь выбивалось из умирающих терний язычества. Наше время, стараясь энергически освободиться от пассивной покорности бессознательным силам вещей, выставило на своем знамени гордый девиз: *служение идее* и тем самым поставило себя в величайшую ответственность, какую когда-либо человеческий дух принимал на себя. Номад, зависящий от подножного корму², не имеет надобности спрашивать себя: *что делать?* Такой вопрос даже может показаться ему странным. — Как: *что делать?* Переходить с пастбища на пастбище и жить чем бог послал. Но человек, окончательно убежденный в дальнейшей несостоятельности такого рода жизни и решившийся искоренить плугом все дико растущие растения, чтобы заменить их более питательными, вследствие одной этой решимости обязан сообразить тысячи вещей; прежний запас питательных веществ, свойства почвы и климата, время посева, доброкачественность семян и т.д., а главное — при каждом искусственном возвращении — сеятель не должен забывать, что можно изменить одну форму ухода, отнюдь не касаясь его сущности.

Каждый живой организм имеет бесчисленное множество потребностей и способность развиваться соответственно каждой из них, в ту или другую сторону. Дереву нужен и свет, и тень, и хорошее сообщение с корнем, и простор для молодых побегов. Всеми этими способностями растения садовник вправе пользоваться для известных целей, то развязывая его шпалерой, то подстригая верхушку, то, напротив, подчищая нижние ветви, но если бы в пылу преобразований он вздумал пересадить весь сад вверх корнями, то остался бы как крыловский — «Философ без огурцов»³.

В устах законодателей и наставников народов фразы вроде «ведь ревность — глупость» несколько не лучше фразы «корни, листья, сердцевина — глупость», произносимой ботаником.

Но мы не будем забегать вперед. Мало ли бесспорных глупостей и нелепостей на свете, да не в нашей власти уничтожить их бесследно.

Мы хотели высказать перед читателем причины, побудившие нас выступить с разбором романа «Что делать?» теперь, когда сила впечатления, произведенного им на известную часть публики, уже значительно ослаблена временем. Именно потому-то мы и избрали этот роман темой нашей беседы. В период его появления условия нашей гласности были до того стеснительны, что, исключая почти всякую возможность прямых и ясных указаний на явления, развивали только в известном кругу писателей искусство говорить шифрованной азбукой ⁴, от которой незатейливый ключ находился в руках всякого — кроме цензора. В настоящее время цензор сошел в ряды простых смертных ⁵ — и виртуозность на языке глухонемых и умеющих, уступая место общепонятному слову, — сошла со сцены ⁶. Перед нами полная возможность говорить и о романе, и о целом направлении, которого он является ярким и единственно конкретным представителем. Нам дорога самая форма романа. Лишь эта форма несомненно и бесспорно указывает не только на то, *что делать*, но и на то, что делают люди известных убеждений. Гораздо легче перетолковать целый трактат или ряд отвлеченных законоположений, чем отказаться от ряда совершившихся фактов. Пусть улыбнется читатель-оптимист, укоряя нас в борьбе с призраками и ветряными мельницами ⁷. Да, отвечаем мы, все это призраки и марево ⁸, но нам легко было бы показать с очевидностью, до какой степени эти обманчивые призраки сбивают многих молодых, неопытных или несамостоятельных людей с толку, отвлекая их внимание и силы от существенных целей и занятий, им же имя легион ⁹. Правда, эти болезненные призраки, как блудящие огни, всего более заметны в местах темных, отдаленных от солнечного света, но мало ли у нас темных захолустьев? Кроме того, эти призраки, появляясь беспрестанно на пути серьезных деятелей, отнимают у них время и силу на бесплодную с ними борьбу. Поверьте! немало найдется и таких, которые выводят из подобострастно восторженных похвал роману «Что делать?», с одной стороны, и из всеобщего о нем молчания, с другой — заключение о неопровержимости породивших его положений и могуществе его

доктрины. Роман «Что делать?» дорог для нас уже потому, что автор его еще в то время понял всю бесплодность одних вечных отрицаний и невозможность остановиться на них. Он давно сознал, как стыдно свистать в эту старую, засушенную и загаженную дудку бесплодного отрицания. Человек делает гать на трясине ¹⁰, — а другой чистит трубу. Изобретите способ не намокнуть первому и не замараться последнему, и вас причислят к благодетелям человечества. Но не восклицайте: зачем этот вымок, а этот в саже. Это и детям наскучит. Отвечать на подобные возгласы не менее стыдно, как и пробиваться ими. Вот где начинается наша личная благодарность г. Чернышевскому. Он вывел, по крайней мере, дело из области бесплодных, перед целым образованным и порядочным светом опозорившихся свистков ¹¹ и ругательств на стезю положения. Он ясно указал, *что делать* должно в интересах известной пропаганды. Он выставил нам идеал распространяемого им учения. За это мы должны быть ему признательны. Дело другое, если на поверку выйдет, что по этому идеалу невозможно жить никому в мире обществу. Решаясь высказать свои соображения по поводу этого идеала, мы оставляем окончательное решение вопроса на суд самого читателя. Если мы иногда позволим себе выставить имя автора, то лишь во избежание повторений, затмевающих предмет. Дело не в личности, а в доктрине. Высказываясь печатно, мы и не думаем заискивать у тех читателей, которых г. Чернышевский величает публикой и к которым относится так двуязычно: «Ты публика добра, очень добра, потому ты не разборчива и не догадлива. На тебя нельзя положиться — у тебя плохое чутье... Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий дает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и *так зла*, от чрезмерного количества чепухи в твоей голове» ¹². Вот на какой беззащитно тупоумный круг заранее рассчитывает пропаганда автора. Надо сознаться, что такой выбор адептов обличает человека «умяющего» ¹³. Чем менее в известной среде дорогих, веками освященных преданий, знакомства с постепенным развитием человеческого общества и способностей к самобытному мышлению, тем благоприятнее такая среда к восприятию всего незрелого, недодуманного, поверхностного и парадоксального. Тут некому задуматься о благе, правде или красоте, а достаточно чего-либо поной да почудней, чтобы составить вокруг себя самый голосистый

хор одобрения. Тем не менее, людям умеющим не следует забывать, что этот хор с такою же беззаботностью покидает свой недавний кумир, с какою толпа, теснившаяся на мосту поглазеть на проплывающие щепки, расходится с возгласами: «Эк, дурачье, лезли! Чему обрадовались?»

Относясь к своим, по его уверению, повсюду возникающим единомышленникам, г. Чернышевский продолжает: «С тобою, с огромным большинством я *нагл*, но только с ним и только с ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. *Добрые и сильные*, честные и *умеющие*, недавно вы начали возникать между нами, но *вас уже не мало и быстро становится все больше*. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, — потому мне еще нужно и уже можно писать». Обращаясь к читателю, автор прямо объявляет, что за ним *стоит уже не мало и быстро становится все больше* людей *добрых, честных, сильных*, а главное *умеющих*, при содействии которых ему *уже можно писать*, как он пишет.

Разделяя с нашим автором его доверие к людям «*умеющим*» в отношении их способности самобытно мыслить и предвидеть, куда они ведут толпу, мы все-таки не обратимся и к ним, хотя и по другим причинам. Мы не решимся оскорбить людей умеющих предположением, чтобы они способны были принять за идеал возможного карикатурную утопию, имевшую, как увидим ниже, и на западе временный успех только в самой темной и неразвитой массе населения. В этом пункте мы, без сомнения, сошлись бы с умеющими.

Не можем забыть, как один из светильников quasi-нового учения, в нашем присутствии, на вопрос о судьбе детей в женско-мужских коммунах, ответил голосом, полным убеждения: «*Детей не предполагается*»¹⁴. Мы убеждены, что подобная фраза, сказанная с самым глубокомысленным выражением лица, стоила бы и человеку *умеющему* усилий к подавлению закипающего смеха. Тут сила не в понимании дела, а в различии основных идеалов. Попробуй-ка мы добродушно подойти к этим *умеющим* с девизами: единство России, равенство перед законом без преднамеренного пригибания весов в ту или другую сторону, уважение к серьезному труду, к серьезной науке, к строгому искусству, к чистоте нравов и т.д. — и увидим, как нас примут *умеющие*. Нет,

и на них плохая надежда. Для умеющих всякая нелепость хороша, лишь бы она служила известным целям.

Теленок не хочет идти с привольного и прохладного луга в темный и душный хлев. У бабы нет в руке лакомого куска хлеба, напоенного молоком. Но это не беда для умеющей. Она идет перед теленком, показывая ему пустую горсть — и вот он незаметно для самого себя очутился в западне. В этом-то и состоит уместность.

Если бы мы хотя на минуту усомнились в существовании людей, которым самостоятельность мысли и опыт не позволяют увлекаться химерами, если бы, скажем более, мы предполагали, что между людьми сильными не найдется ни одного способного дать отпор *умеющим*, то, считая всякое обращение к здравому смыслу делом несостоятельным, не сказали бы ни слова о романе «Что делать?»

Взяв в руки пресловутое сочинение и прочитав несколько строк, мы должны были согласиться с исповедью автора в том месте предисловия, где он говорит: «У меня нет ни тени таланта. Я даже и языком-то владею плохо»¹⁵. Единомыслие наше с автором на этот счет возрастало с каждой новой страницей и с последней строкой романа достигло зенита. Скучность изобретения, положительное отсутствие творчества, беспрестанные повторения, преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому беспомощная корявость языка превращают чтение романа в трудную, почти невыносимую работу. Но мы подумали: что делать? В качестве рецензента надо продолжать. Ведь продолжал же автор, отчасти сам сознававший эти недостатки. Следовательно, была на то причина. Недаром он говорит: «Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика, прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей»¹⁶. Благодаря такому объяснению дело становится ясным. Сущность не в романе, не в творчестве, а в истине, в пропаганде.

Нет ничего труднее и бесплоднее разговоров с глухими о звуках, с слепыми о красках и т.п. Как вы уясните нигилисту превосходство тончайших стихов Пушкина над бездарнейшими виршами? Чем доказать слепому, что теперь день, а не ночь?

Наша задача вывести несомненные положения доктрины из романа «Что делать?» с помощью самого романа. Но мы бы положительно отказались от такой задачи, видя перед собой художествен-

ное произведение. У истинных художников от Гомера и Эсхила до Шекспира и Гете всякое лицо право, пока оно говорит. Можно чувствовать, что любимцы поэтов Гектор, а не Ахиллес, Пелей, а не Менелай (в Андромахе), Цезарь, а не Брут, Фауст, а не Мефистофель¹⁷, но как это доказать? Отсутствие чутья или недобросовестность возражающего могут поставить вас в безвыходное положение. При разборе романа «Что делать?» подобных затруднений не существует. «Современник» и К°¹⁸ давно приучили нас к своему взгляду на литературу. Мы знаем их презрение к искусству для искусства¹⁹. Следовательно, в романе дело в содержании, а не в искусстве, которого, по словам автора, «*тут нет и тени*». Действительно, тут нет даже признака *умения*, зато *умелость* во всей силе. Перед нами безразличная масса романа и в ней, по словам автора, — истина. Как же отделить эту истину от фабулы? — Не поможет ли заглавие «Что делать?» (со знаком вопроса).

Что делать? Куда стремиться? Чего добиваться? Как жить? — самый капитальный вопрос для последователей всякого учения. Из разбросанных философских воззрений на жизнь, из разнородных порицаний тех или других существующих явлений трудно с точностью вывести: что должно и чего не должно желать или делать. Никакие массы отрицаний не в силах исчерпать всего, чего не нужно делать, оставив в необъятной массе жизни оазисом — только желаемое. Тут безграничное поле для сомнений, противуречий и споров; тут арена для раскола. Зато воспроизведение идеала (хотя бы и бездарное) в форме романа окончательно выводит из всяких сомнений и колебаний.

За вопросом *что делать? как жить?* следует роман, и нам остается только подвести черту следствия и сказать: следовательно — надо делать то, что делают в романе люди, рекомендуемые симпатией автора и не делать того, что делают лица, над которыми тяготеет его презрение.

Открыть, кому из своих героев сочувствует или не сочувствует наш автор — нетрудно, — он так щедр на похвалы и порицания. Отсутствие в авторе романа «*и тени таланта*» еще более облегчает дело. Все перипетии ведены к тому, чтобы любимый герой мог совершить такой, а не другой поступок. Нечего разбирать, возможен или невозможен известный поступок в данную минуту. Дело в том, чтобы выставить поступок, подчеркнуть его и тем самым сказать: *вот что делать*. С другой стороны, не симпатичные автору лица никакими признаками здравого смысла

или добра не могут избежать позорных ярлыков: *дурак* и *негодяй*. При таких условиях к пониманию симпатий препятствий быть не может. Все психологические тонкости, пускаемые в ход романистом, исчерпываются колебаниями признать то или другое состояние духа, вроде: «*Она думала, что думает, — нет она не думала, что думает*» или «*ей казалось, что она хочет; — нет, ей не казалось, а все-таки казалось*» и т. д. Эти колебания немилосердно преследуют вас через весь роман.

Воплощая идеал, автор не довольствуется одним воспроизведением текущих событий, он выставляет и отдаленнейшие мечты и сокровеннейшие надежды, — *pia desideria*²⁰ школы. Для этого на желаемом месте действия героини Веры Павловны прерываются словами: «и снится Верочке сон». Такой метод раздвоения жизни и травли двух зайцев не нов. Он давно изобретен неспособностью к творчеству. С его помощью автор думает попасть в двойную цель. Во-первых, в очерках ночных грез высказать непосвященным, до поры до времени, тайные учения и золотые сны секты, а во-вторых, на случай изобличения в тройной нелепости, оставить за собой убежище под эгидой стиха «Когда же складны сны бывают»²¹. Все это прекрасно. Лазейка устроена. Является новое соображение. Ну, как в самом деле *тупоумная публика* примет сны Верочки за чисто художественную задачу, вроде сна Татьяны в «Онегине»? Тогда весь заряд пропадет даром, все значение романа погибнет и только обличит хвастовство автора, объявившего, что ему уже можно писать. Подобный казус мог бы затруднить *проницательного читателя* (он же изгоняется г. Чернышевским за тупоумие, «*в шею*»²²), но автор недаром человек *умеющий* и сильный в психологии, основанной на: *думала, не думала; казалось, не казалось; снилось, не снилось*. Он подчеркивает галлюцинации Веры Павловны своими надеждами на скорое их воплощение, похвалами этим будущим явлениям и самому *проницательному, т.е. тупоумному* (и тут психология) читателю ясно, что сон не сон, а только грезы, заменяющие прямую пропаганду.

Заявив в себе отсутствие даже тени таланта, автор неожиданно продолжает: «Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта, и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь

великими, а мой роман хуже их сочинений — с прославленными сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! в нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет»²³. Как согласить или только объяснить такое разноречие в заявлениях автора? «*Ни тени художественности и все-таки больше художественности, чем в прославленных сочинениях наших знаменитых писателей*»? Не слишком ли это много? Не слишком ли самонадеянна и смешна подобная претензия? или в самом деле у нас такой избыток талантливых писателей-романистов? Попробуем счесть: Толстой, Тургенев, Писемский, Гончаров²⁴ — кто еще? Никого. Быть не может. Неужели нам автор хотел сказать, что и в этих немногих нет и тени таланта? Неужели, при своей сознательной бездарности, он не способен даже видеть, что эти немногие выработали свой собственный колорит и слог, по которым, с нескольких строк, не окончательно тупому читателю легко узнать каждого из них. В то же время из приведенной выписки явно желание прицепиться к униженным самим же автором писателям на недоступную высоту, повторяя басню Крылова «Орел и паук». Ведь не довольно для него помериться со второклассными, — нет, давай непременно первоклассных. До очевидности ясно, что автор зол на первоклассных писателей не столько несмотря на их неотъемлемые достоинства, сколько именно в силу этих достоинств. К кому же с большею справедливостью могут относиться слова: «*Ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове*».

Повторяем: о личном таланте автора не стоило бы говорить. Но в романе «Что делать?» каждая мысль, каждое слово — дидактика, каждая фраза выражает принцип. Этого нельзя пройти молчанием. Жалкие усилия паука подняться за орлом в настоящем случае — не слово, а дело. Они предназначаются стать в глазах неофитов примером великодушнейшего нахальства и великолепнейшей наглости, полагаемых в краеугольный камень доктрины. Дело не в истине и справедливости, а в адептах из среды *тупой публики*. Недаром у автора такое строгое различие: с людьми, которые *вперед за него* и для которых ему писать *уже не нужно*, он *скромен*, даже *робок*, но с огромным большинством он *нагл*. Величающаяся наглость, охорашивающееся бесстыдство — догматы нового учения. Это катехизис, который говорит: «Вы желаете ничем не заслуженного успеха, блистательного торжества громкой

галиматъи — будьте прежде всего наглы и не забывайте, что самому добродушному слепцу стоит выдать себя за *очковую змею*²⁵ и самой близорукой бездарности нахально провозгласить себя публично человеком умнейшим — и успех несомненен. Вспомните, как *тупа публика*»,

Ограничимся такую передачею содержания романа, которая могла бы, при ссылках на действующие лица, напомнить читателю, кто они такие и какое место занимают в рассказе.

На Гороховой между Садовой и Семеновским мостом многоэтажный дом, принадлежащий по наследству Михайле Ивановичу Сторешникову, воспитанному и живущему в богатстве, а потому неизбежно дурному и пошлomu (очевидно гвардейскому) офицеру, а не его матери Анне Петровне, на тех же основаниях — злой и пошлой женщине. Зато в доме есть самая грязная лестница и на ней в 4-м этаже, в квартире направо, живет управляющий домом Павел Константинович Розальский с женой Марьей Алексеевной, с дочерью Верой Павловной (героиней) и 9-тилетним сыном Федей. Отец служащее ничтожество, сын аксессуар²⁶ — предлог для введения в дом учителя (героя романа), мать во время оно намеренно распутная, в настоящее время грубая драчунья, пьяная интриганка, не видящая, что творится у нее под носом, алчная ротовщица, — но возвращенная нуждой и потому охотница до калачей, по пословице «нужда научит калачи есть» — и по тому самому *умная*, бессознательно прогрессивная натура, провозвестница *новых порядков*, главной целью которых не заработанные, а нагло из чужих рук вырванные калачи. Дочь — идеал того, *что делать?* всем русским. Недаром родилась она на грязной лестнице. Воспитание Верочки самое идеальное.

Когда ей было 9 лет, Матрена кухарка растолковала ей, что у ее маменьки Марьи Алексеевны, за деньги, была принята в дом для разрешения от бремени богатая дама, муж которой, узнав об этом, приходил с полицией, да ни с чем и ушел. Когда ей пошел 11-й год, мать стала кричать: «Отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки!» В 16 она перестала брать уроки в пансионе и у пьяного немца музыканта, а стала давать их сама. Матрена рассказала Верочке, что отец отдает ее за своего начальника с орденом на шее. Тут подвернулся хозяйский сын. Зайдя к управляющему под предлогом обоев, требующих перемены, он стал ходить все чаще и однажды взял ложу в опере для матушки и дочки. Вечером он явился в их ложе со статским и военным

(Сержем). Эти господа так бесцеремонно стали говорить по-французски при интересующей их девушке (сейчас видны богатые глупцы), что напугали ее окончательно и заставили уехать.

Марья Алексеевна — дама решительная. Она не отчаивается видеть в Сторешникове будущего зятя. «О чем говорили в театре? Коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг налоя обведу, да еще рад будет»²⁷. На другой день за ужином у Дюссо²⁸ (слуга Simon) Сторешников начинает хвастать перед вчерашними товарищами победой над Верочкой, называя ее своей любовницей. Жан избличает его во лжи. Завязывается пари на новый ужин, состоящее в том, чтобы Сторешников, в подтверждение своих слов, привез на ужин мнимую любовницу. Если не привезет, то изгоняется из драгоценного для него общества Жана и Сержа. Вся эта сцена возмущает нравственное чувство (кого бы вы думали?) m-elle Жюли — бывшей уличной потаскушки в Париже, а теперь живущей на содержании у богатого (следовательно глупого и неспособного) Сержа. Жюли догадывается о невинности Верочки и решается спасти ее от преследования Сторешникова. Между тем Сторешникову необходимо выиграть пари, т.е. хоть на минуту затащить Верочку на будущий ужин. План готов. Он пойдет спросить о здоровье вчерашних дам и предложит Марье Алексеевне прокатиться с дочерью на тройке. Затем уговорит ее зайти в ресторан. Матери опиума в чашку — дальнейшее понятно. С этой целью Столешников является к Розальским, получает согласие матери, но как только та отвернулась, добродетельная дочь делает ему реприманд²⁹ на французско-нижегородском наречии³⁰ и решительно отказывается от катанья. Но и французский язык плохая помощь там, где бессознательная прогрессистка мать для достижения своих целей готова ежеминутно задать непокорной дочери потасовку. Если в этом омуте не явится чистая душа — все пропало. — Не беспокойтесь. Чистая душа не дремлет. Она проснулась и, потягиваясь с Сержем на постели, положила везти своего послушного (то-то простота!) обожателя в качестве переводчика к не знающей по-французски Марье Алексеевне.

«Та ли это Жюли, которую знает вся аристократическая молодежь Петербурга? Та ли это Жюли, которая отпускает шуточки, заставляющие краснеть иных повес? Нет; это *княгиня*, до ушей которой не доносилось ни одно грубоватое слово»³¹. — Согласись, здравомыслящий читатель, надо родиться на грязной лестнице,

чтобы принять деву вроде Жюли за порядочную княгиню. Колыбель подобных девиц Париж, и тебе небезызвестно, как неудержимо хохочут там все эти красавицы над наивным подобострастием, с каким некоторые русские предлагают им свой толстый кошелек. Парижане, привыкшие отличать таких прелестниц между тысячами, несмотря на их пышные кринолины и блестящие экипажи, обращаются с ними далеко не почтительно, предоставляя подобострастные к ним отношения тем, для которых не только никогда не виданная княгиня, но и такая презренная игрушка минутной прихоти — все еще кажется высотой недоступной. Жюли пришла, увидела и победила Верочку и тихонько уговорила ее на свидание с нею, Жюли, в линии Гостиного двора, противоположной Невскому. Жюли не зовет Верочку к себе, чтобы не скомпрометировать ее, а Сторешникову пишет: «Вы теперь в большом затруднении; если хотите избавиться от него, будьте у меня в 7 часов. М. Ле-Телье»³². — Сторешников, боясь изгнания из круга светской молодежи — за хвастовство — является на зов, и Жюли решается спасти его на условии молчания с его стороны. Это молчание спасет честь скомпрометированной им девушки. — Что-то мудрено? Мудрено для нас с вами, а не для Жюли. У таких барынь все просто. Она пишет Жану, чтобы он упросил Сторешникова отложить ужин, намекая на то, что Жан проиграл пари. А отложить просит на том основании, что ей, Жюли, председательнице пира, нельзя на этот раз быть на нем. — «Помилуйте! — восклицает здравомыслящий читатель, — ведь она хочет спасти скомпрометированную в глазах молодежи девушку, так как же она спасает ее, когда превращает их сомнение насчет щекотливого вопроса — в положительную уверенность в ее виновности?» — Это по-вашему, по-простому, добрый читатель, но вы забыли психологию «любить — не любить, компрометировать — не компрометировать», идущую через весь роман. Чтобы не компрометировать девушку, Жюли ее окончательно скомпрометировала и тотчас же предлагает Сторешникову за то, что он скомпрометировал Верочку, жениться на ней. «Вы боитесь скомпрометироваться этим браком. Не бойтесь, ваша жена с самой грязной лестницы — будет красавица — и *доставит вам успех в высшем обществе*». Жюли недаром кончила полный курс 5-франковой парижской chateau³³, она в темных переулках насмотрелась на большой свет и по собственному опыту знает, чем там взять.

На другое утро Верочка выходит на условное свидание в Гостиный двор, и Жюли, не желая ее скомпрометировать (экая

деликатная!) своим знакомством, покупает ей густой вуаль и тут посвящает ее в свое деликатное и передовое воззрение на жизнь и отношение к мужчинам. «Жизнь — проза и расчет», — говорит она своей воспитаннице. «Лучшее положение в свете для женщины — положение актрис и танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними; но еще лучше, если со стороны общества есть формальное признание законности такого положения»³⁴. Практическое применение — выходи за дурака Сторешникова и властвуй. Верочка не соглашается поцеловать немилрого — *отдать руку гадкому*, и Жюли, соглашаясь с нею, кричит ей: «Беги, беги!»³⁵ Между тем Сторешников (такой бедовый!) задумал делать то же, что, по свидетельствам Юма, Гиббона, Ранке и Тьерри³⁶, делали целые народы. Он толкался в одну сторону, добиваясь обладания управительской дочерью, а Жюли посоветовала ему толкнуться в другую, он и стал, по примеру народов, *поворачиваться направо кругом*³⁷. Кажись, стыдно бы ему в этом случае брать пример с народов. Что народы? Неучи. Автор нам открыл глаза даже в отношении к публике, которая чином выше народов. А народам все простительно, даже пешком поворачивать направо кругом. Но ведь Сторешников — не народы, а обученный строевой офицер, который может поворачиваться только налево кругом, а никак не направо кругом.

Как бы то ни было, он *стал думать на тему „жена“, как прежде думал на тему „любовница“*³⁸. Додумавшись до настоящего, Сторешников отправился к Розальским просить руку дочери. Те, разумеется, в восторге и порешили, так ли, сяк ли, — выдать за него Верочку. Между тем кухарка Матрена разболтала в доме о сделанном предложении — и слух дошел до матери Сторешникова Анны Петровны, которая пришла в отчаяние (такая отсталая барыня!) и говорит сыну: «Я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!» — «Мама, это не принято нынче»³⁹, — отвечает сын, как и следует отвечать светскому юноше из Палкина трактира⁴⁰, затем объявляет матери, что дом-то его, а не ее собственность. Мать падает в обморок и, когда ее Мишель уходит, посылает за управителем. «Как вы смели? — Ваше Превосходительство, мы и не смеем» и т. д. Розальский отказывается, за что и получает от Сторешниковой подарки для Верочки. «— Ну что? — спросила Марья Алексеевна входящего мужа. — Отлично, матушка — и рассказывает. — Осел! подлец! убил! зарезал! Вот же тебе!» — муж получил поще-

чину. — «Вот же тебе» — другая пощечина. Входит Сторешников, объясняет Верочке, что жить без нее не может и просит хотя отсрочки ответа — в надежде заслужить благоприятный. На последнее Верочка соглашается. Сторешников возвратился домой с победой. Опять явился на сцену дом и опять Анне Петровне приходилось только падать в обморок. «Так шло время. Женых делал подарки Верочке, и ее оставляли в покое, глядели ей в глаза»⁴¹. Но с каждым днем могла разразиться гроза, и у Верочки замирало сердце от тяжелого ожидания.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первая любовь и законный брак

«Число порядочных людей растет с каждым новым годом», — говорит автор, — а со временем «все люди — будут порядочные люди»⁴². Дай бог! — говорим мы с своей стороны. Отчего же с каждым новым годом все множатся журналы и литературные произведения дурного тону? Впрочем, о порядочных людях мы будем иметь случай поговорить, а теперь такое рассуждение понадобилось автору только для объяснения встречи главного героя Лопухова с Верочкой. Розальские стали искать учителя подешевле для маленького брата Верочки Феди. Им рекомендовали медицинского студента Лопухова. Излишне говорить, что Лопухов прогрессист и потому вместо уроков у него идут толки с Федей о ручках сестрицы да о глупости ее жениха. «Лопухов, точно, был студент, у которого голова была набита книгами», — какими, это мы увидим из библиографических исследований Марьи Алексеевны. «Он был сыном рязанского мещанина, а в настоящее время своекоштным студентом Медицинской академии и положительно знал, что скоро будет ординатором в одном из петербургских госпиталей — и скоро получит кафедру в Академии»⁴³. Замечательно, что все герои указатели того, что делать — имеют тесную связь с Петербургской Медицинской академией, на которую автор возлагает свои блестящие надежды. «Было время, когда Лопухов сильно нуждался: сидел без чаю и без сапог. Такое время очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить дешевле, чем есть и одеваться»⁴⁴ (В откупное время⁴⁵ такому порядочному человеку, как Лопухов, нужно было не менее 20 копеек, чтобы налиться сивухой, а если бы он съедал 3 ф<унта> хлеба, то это стоило бы не более 4 1/2 коп. Таковы все

расчеты автора, проверяемые действительностию). Бывало у него много и любовниц. Однажды Лопухов влюбился в заезжую актрису, написал к ней любовное письмо и, назвавшись лакеем графа такого-то, — был допущен и достиг цели.

Это первое самозванство заранее предвещало в нем человека *умелого*. Напрасно уничтожал он такое громадное количество лягушек с товарищем и сожителем своим Кирсановым — это ни к чему его не повело. Медицину он бросил бы, не кончив курса; главная умелость его, как увидим, состоит в ряде подлогов, на которых зиждется все его благосостояние. — Мы знаем теперь, что его товарищ и наперсник (герой № 2) *Кирсанов*. Лопухов втирается в доверие Розальских и, главное, Верочки, а встретив однажды ее жениха Сторешникова, вызывает следующую сцену:

«Жених, сообразно своему мундиру и дому, почел нужным не просто увидеть учителя, а увидев, смерять его с головы до ног небрежным, медленным взглядом, *принятым в хорошем обществе*. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель, — не то чтобы снимает тоже с него самого мерку, а даже хуже: смотрит ему прямо в глаза, да так прилежно, что вместо продолжения мерки жених сказал: „А трудная ваша часть, мсье Лопухов, — я говорю, докторская часть. — Да, трудная“, и все продолжает смотреть прямо в глаза.

Жених почувствовал, что левою рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую и третью сверху пуговицы... значит, было плохо. — „На вас, если не ошибаюсь, мундир такого-то полка? — и пошел расспрашивать его как ординарца. Скоро ли надеетесь получить роту? — Нет еще! — Гм...“ учитель почел достаточным и прекратил допрос, еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу»⁴⁶.

А вы еще спрашиваете: что делать? Не нужно хлопотать о приобретении хотя бы малейших данных на общественное уважение. Это все вздор. Достаточно сказать себе: «я человек передовой» и затем нагло обращаться со всеми. Ведь все другие — тупая публика, где же им догадаться прогнать наглеца, они на то, подобно Сторешникову, вертятся *в хорошем обществе*, чтобы не суметь даже отвернуться от первого встречного нахала. Уж они такие — поверьте. Всему учились, сдавали экзамены — а все ничего не знают, а Лопухов, получавший 38 р<ублей> сер<ебром> в год и не могший брат танцмейстера, — танцует и играет на фортепьяно. Вот что он виртуоз по картежной части — понятно. — «А вы по какой

играете? — спрашивает Лопухова Розальский. — По всякой». — Где же так наострился Лопухов? «Академия на Выборгской стороне (по словам автора) *классическое учреждение по части карт*. Там не редкость, что в каком-нибудь номере играют полтора суток сряду. Надобно признаться, что суммы, находящиеся в обороте на карточных столах, там гораздо менее, чем в Английском клубе, но уровень искусства игроков выше. Сильно игрывал в свое — т.е. в безденежное, время и Лопухов»⁴⁷. Во время танцев Лопухов объявляет Верочке, что у него уже есть невеста. — Каков хитрец! Розальские, узнав об этом обстоятельстве, допускают его до большего сближения с дочерью, а он и не думал о настоящей невесте. Невеста у него идеальная. Кто же такое? Наука? Как же, станет он с такой дрянью связываться. Его невеста та дама, которая *сильнее всех на свете* и обещает уничтожить бедность. — «Сумеет же мы, — говорит Лопухов, — устроить жизнь так, что бедных не будет»⁴⁸. Видите ли, куда дело пошло? Тупоумная публика думает, что в свободной России, нуждающейся в рабочих руках, — за исключением больных — нет произвольно бедных. Публика думает: только иди работай и будешь по своему таланту и положению жить безбедно. Только не полагай непременно условием возможность валяться *до 10 часов в мягкой постели* и тут же *в постели* пить *крепкий душистый чай с густыми сливками, которых больше, чем чаю*, да ездить *в итальянскую оперу*. Оттого-то ты *так тупа, публика*, что забрала себе всю эту чепуху в голову. Ты дай-ко всем твоим благополучием распорядиться гг. Чернышевским, Кирсановым да Лопуховым — они тебе вмиг все устроят в наилучшем виде. Мгновенно потонешь по горло в кисельных берегах у сливочных струй, как о том гласят книги, которыми Лопухов перевоспитывает Верочку⁴⁹. Какие же это книги? — «Вот Марья Алексеевна взяла книги, принесла к Михаилу Ивановичу (Сторешникову). — Посмотрите-ко, Михаил Иванович, французскую-то я сама почти разобрала: „Гостиная“ значит самоучитель светского обращения, а немецкую-то не пойму. Нет, Марья Алексеевна, это не „Гостиная“, это „Destinée“ — судьба.

— Какая ж это судьба? Роман что ли так называется, али оркул, толкование снов?

— А вот сейчас увидим, Марья Алексеевна, из самой книги.

Михаил Иванович перевернул несколько листов. — Тут все о сериях больше говорится, Марья Алексеевна — ученая книга.

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести?

— Да, все об этом, Марья Алексеевна»⁵⁰. Как это все тонко, а главное правдоподобно! Предположим, что Сторешников не читал книги Виктора *Консидерана* и не имел понятия о будущих рабочих *сериях* и *гармонических отношениях* между собою, о которых хлопочет автор. Но какими же судьбами он не перевел Марье Алексеевне заглавия книги, которую держал в руках. «*Destinée sociale, exposition élémentaire complète de la théorie sociétaire*», т. е. «Социальное предопределение (а не судьба), полное основное изложение социалистической теории»⁵¹. Какими же судьбами после этого Сторешников мог принять эту книгу за биржевое руководство?

«Ну, а немецкая-то?» — продолжает пытливая Марья Алексеевна.

Михаил Иванович медленно прочел: «„О религии, сочинение Людвига“ — Людвига XIV, Марья Алексеевна, сочинение Людвига XIV; это был, Марья Алексеевна, французский король, отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел»⁵².

Еще раз допустим, что Сторешников не знал атеистического сочинения Фейербаха, но уверения его, что автор книги есть Людовик XIV — отец Людовика Филиппа — другими словами, уверения нашего автора, что гвардейский офицер Сторешников никогда не слыхивал о революции, Наполеоне первом и взятии Москвы французами⁵³ — не только клевета на гг. офицеров или простая голословная брань публики, это геркулесовы столпы презрения⁵⁴ ко всякому здравомыслию читателя.

Но мы, кажется, опять отклонились от главного вопроса: *Что делать?* Ясно, что должно делать всякому *порядочному человеку*, надо по всем направлениям тайно распространять, даже между женщинами, атеистические и социалистические книги — и все пойдет, как по маслу. Лопухов не ограничивается доставлением таких книг — он приступает к изустной проповеди и развивает перед ученицей материалистическую теорию эгоизма. — Он говорит: «Совет всегда один: рассчитывайте, что *для вас полезно*; как скоро вы следуете этому совету — одобрение»⁵⁵ (как скоро такая конструкция — семинария). Рассуди, здравомыслящий читатель: не есть ли подобная гоньба за нравственными побуждениями — тупая и бесплодная игра вничью? — Солдат при виде опасности, угрожающей начальнику, — бросается спасти его собственной смертью. По теории — он взвесил свою личную пользу. Не забудь, что теорию эту выставляют мнимые материалисты и не видят, что со-

бака, неспособная к отвлеченным сравнениям пользы и вреда, бросается на втрое сильнее волка, чтобы дать время спастись человеку. Предположим даже, что вечной игрой в «любимый, не любимый» можно объяснить эгоизмом высокое самоотвержение матери и т. п.; чем, дескать, выше нравственное развитие, тем выше наши личные цели — тем выше эгоизм. И тут ежедневный опыт приводит к новым затруднениям. Мы видим развитых эгоистов, которым выгодно сжечь театр, и неразвитого мужика, которому выгодно сгореть на его крыше. Ясно, что теория эгоизма проведется не с философской точки зрения, а с практической. Раз что вы приняли как догму: расчет личной выгоды — вам безвозбранно отворяются все двери. Вы всю жизнь основали на подлогах и успеваете — вы правы — это вам выгодно, вы обокрали банк — выгодно, тайно из-за угла убили человека, который вам мешал — опять законная выгода. — Неудивительно, что после этих лекций, подслушанных пьяною, но умной (по свидетельству автора) интриганкою Марьей Алексеевной, Лопухов растет в ее глазах и она вступает с ним в ту нравственную солидарность, на которую с такою настойчивостию неоднократно напирал автор. «Да, — говорит он, — Марья Алексеевна была права, находя много родственного в себе с Лопуховым». — «И что значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей — не слушает, обижается. Не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить». Марья Алексеевна сейчас поняла, что Лопухов рассуждал о вещах в ее собственном духе. «Подобно ей, он говорил, что все на свете делается для выгоды, *что когда плут плутует, нечего тут приходить е азарт — что тот плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом*, не говоря уже о том, что это невозможно, — было бы нелепо, просто сказать глупо с его стороны». Напрасно еще непосвященная Верочка возражает: «Итак, эта теория, *которую я не могу не допустить*, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную? — Нет, Вера Павловна (продолжает Лопухов), эта теория холодна, но учит человека *добывать тепло*. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она — холодна, дрова холодны, но от них огонь». — Не довольствуясь таким ясным языком Лопухова, автор заставляет его еще заочно обращаться к единомысленной Марье Алексеевне. «А как, по вашему собственному признанию, Марья Алексеевна, *новые порядки* лучше прежних, то я и не запрещаю хлопотать о их заведении людям, которые

находят себе в том *удовольствие*». — И прекрасно, г. Лопухов, предположим, что нам при всех этих явлениях нечего приходить в азарт, но и вам с Марьей Алексеевной в свою очередь нечего приходить в азарт, если мирные благомыслящие люди, которым заведение ваших порядков не доставляет удовольствия, станут сообща останавливать тех, которые суют продукты холодных спичек и коробочек туда, где бы им не следовало быть. Всякому свое. Мы совершенно согласны с вашим мнением насчет *глупости народа*, которая действительно *помеха делу*. И к чему, подумаешь, этот несносный народ в 70 миллионов тут замешался с своей неподатливостью. Не будь этой бездельной помехи, дела Лопухова и Марьи Алексеевны пошли бы успешнее. Но Лопухов знает, чем утешить своих близких. Он говорит, «что прежде и не было народу возможности научиться уму-разуму, а доставьте людям эту возможность, *то, пожалуйста, ведь они и воспользуются ею*»⁵⁶. «А оправдывать Лопухова тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений в последнее время (а не во все времена?) так отлично зарекомендовали себя в глазах всех порядочных людей со стороны ума, да и со стороны характера (валяй их, в самом деле. Чего жалеть, коли рука расходилась?), что защищать кого-либо от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова — стало делом неприличным»⁵⁷. Успокойтесь, Марья Алексеевна, дело идет вовсе не о вашем обращении ко мнению 70 миллионов, а просто о защите общества от вашей непрошенной опеки и смуты. Мы еще недавно слышали мнение, высказанное, правда, юношей, касательно пользы подлогов, образующих и умножающих пролетариат, без которого революция невозможна. (Подумаешь, как жаль!)

Нравственное воспитание Верочки, начатое уличной прелестницей Жюли, — блистательно окончено Лопуховым. Теперь ей уже все нипочем. Она только станет отыскивать ей лично приятного. Теперь понятия *отец, мать, семейство* и вообще о доме для нее уже пустые фразы. Ей приятно бежать из родительского дома. Но куда? В актрисы — Лопухов не советует. «Уж лучше, говорит, идти за вашего жениха». — «Пойду в гувернантки, — говорит Верочка, — похлопочите, Дмитрий Сергеич, кроме вас некому». — «Размыслив о том, что подумают о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту, Лопухов, уж конечно, никак не мог выставить на объявлении своего адреса» и выставил адрес знакомого, имеющего «порядочную

квартиру, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид»⁵⁸. Таким невинным подлогом он рассчитывал поймать на удочку «выгодные» для гувернантки условия, — а какую птицу получают наниматели за свои большие деньги — до этого, разумеется, нет дела. «По мере явления нанимающих — нужно порассмотреть, каковы-то они сами, не показывая им гувернантку». (В жизни, вы сами знаете, всегда так бывает!) Эти побегушки под именем племянника гувернантки (новый невинный подлог) отнимают у Лопухова много времени, и товарищ его Кирсанов ворчит на упущения в учебных занятиях. Пусть ворчит. Лопухов говорит уже: «Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем!

— Друг мой, сколько хлопот вам! Чем вознагражу вас?

— Да за что же, мой друг?

— *Что с вами, мой друг?*

— Ах боже мой, как я глуп, как я глуп! Простите меня, *мой друг*.

Суббота. После чаю Марья Алексеевна уходит считать белье.

— *Мой друг, дело, кажется, устроится.*

— Да? если так — ах боже мой, ах боже мой, скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится.

Нынче поутру Кирсанов.

— Знаю, несносный, несносный, знаю! говорите же скорее без этих глупостей.

— Сами мешаете, *мой друг*.

— Велю вам стать на колени на вашей квартире и чтобы ваш Кирсанов прислал мне записку, что вы стояли на коленях — *видите, мой друг*, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче. Что же слушать? До свидания, *мой друг!*

— Да послушайте, *мой друг... Друг мой*, послушайте же».

Не служит ли тебе, здравомыслящий читатель, эта милая игривость новым подтверждением аксиомы, что никакая наглость не в силах заменить не только таланта, но даже простых привычек хорошего тона (о котором так многократно и напрасно хлопочет наш автор).

«— Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама? (нанимательница).

— В Галерной подле моста.

— Во сколько часов вы будете у нее?

— Она назначила в 12.

— С двенадцати буду на Конно-Гвардейском бульваре. На мне будет густой вуаль, в руке сверток нот».

Вот объяснения искомой г. Б. с Лопуховым: «Вам может казаться странным, что я, при своей заботливости о детях, решилась кончить с вами, решилась кончить дело с вами, не выдав ту, которая будет иметь такое близкое отношение к моим детям. Но я очень, очень хорошо знаю, из каких людей состоит ваш кружок. Я знаю, что если один из вас принимает такое дружеское участие в человеке, то этот человек должен быть *редкой находкой* для матери, желающей видеть свою дочь действительно хорошим человеком. Потому осмотр казался мне совершенно излишнею деликатностию. Я говорю комплимент не вам, а себе».

Давно бы так! Прямо бы сказала: не хвастайте вашею верою в абстрактную всесильную невесту. Я сама этой веры, — и все пошло бы к общему удовольствию. Да вот беда. Эта вера требует теории эгоизма. Не будь г. Б. такой эгоисткой, она бы не стала держать в тайне своей *редкой находки* и дала бы всему обществу (этой тупой публике) средства ею пользоваться. А то нет. Г-жа Б. молчит, а публика не знает, как легко найти редкую находку для матерей, желающих видеть дочерей действительно хорошими. Стоит только обратиться за рекомендацией *барышни хоть к одному* из студентов Медицинской академии и можно быть уверена, что они все знают ее с самой лучшей стороны — тут не нужно даже трудиться поджидать гувернантку на Конно-Гвардейском бульваре. Еще хуже то обстоятельство, что теория эгоизма оказывается вредной даже для того круга, из которого проповедуется.

Г-жа Б., узнав всю верочкину обстановку, по эгоизму приняла в соображение, что тупое общество для ограждения своих очагов от вторжений Лопуховых и бульварных барышень придумало письменные виды и прочие глупые бумаги, без которых не дозволяется никого принимать в дом. Приняв все это в соображение, эгоистка «г-жа Б. плакала», а взять-то Верочку все-таки не решилась. Впрочем, объективный автор и *не обвиняет ее за это безусловно*, хотя по теории обязан бы был изречь ей *одобрение*. Не обвиняя ее прямо, он рассуждает так:

«Разумеется, г-жа Б. не была права в том безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяца нельзя достать рукою». (А ребятишкам куда бы как хотелось достать его). «При ее *положении в обществе*, при довольно важных должностных связях ее мужа очень вероятно, даже несомненно, что если бы она уж непременно захотела, чтобы Верочка жила у нее, то Марья Алексеевна не могла бы ни вырвать Вероч-

ку из ее рук, ни сделать серьезных неприятностей, ни ей, ни ее мужу, который был бы *официальным* ответчиком по процессу и за которого она боялась. Но все-таки г-же Б. пришлось бы иметь довольно хлопот, быть может, и некоторые неприятные разговоры. Надобно было бы одолжаться по чужому делу людьми, услуги которых лучше приберечь для своих дел. Кто обязан и какой *благоразумный* человек захочет поступать не так, как г-жа Б., мы нисколько не вправе осуждать ее; да и Лопухов «не был неправ, отчаявшись за избавление Верочки»⁵⁹. Из этой небольшой тирады для здравомыслящего читателя ясно, *что делать?* Недаром автор ссылался на стоящих за ним людей *сильных*. Теперь он разъясняет, на что они ему нужны. Эти сильные необходимы для того, чтобы своим влиянием парализовать власть закона, если он будет не в пользу людей *умелых*. Вот вам и ярые изобличения злоупотреблений власти. Как дело дошло до злоупотреблений в пользу *нашу*, а не *вашу*, так свищи на того, кто осмелится об них заикнуться. Согласитесь, что эта *наглость* уж чересчур наивна.

Пока происходили все эти тщетные искания мест для беглянки-дочери, совершалось и ее духовное просветление и прозрение, выраженное, как мы уж говорили, у автора — рядом снов.

И снится Верочке сон:

«Что она затерта в сыром, темном подвале. И вдруг дверь открылась в поле. „Как же это я могла не умереть в подвале? Это потому, что я не видала поля“. А вот идет по полю девушка, — как странно! и лицо и походка — все меняется в ней; вот она англичанка, француженка, а вот она уж немка, полячка, вот стала и русская, опять англичанка и т.д. какая странная! какая кроткая, какая сердитая! вот печальная, вот веселая, — все меняется, а все добрая, — как же это, и когда сердитая, все добрая?» (Опять «любишь, не любишь»). Коллективная женщина подходит к Верочке. — «Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом? — Была. — Теперь избавилась? — Да. — Помни же, что еще много не выпущенных, много не вылеченных. Выпускай, лечи. Будешь? — Буду». Другими словами, Лопухов эмансипировал Верочку, Верочка эмансипирует⁶⁰ всех женщин. «Ах как весело!» Но все это только сон, а в действительности Верочка все еще тоскует у матери и от скуки мечтает о приятности асфиксирования⁶¹. «Выбили окно и видят: я сижу у туалета и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. Верочка? Ты угорела? — а я молчу. Верочка, что ты молчишь? — Ах, да она удушилась! — Начинают кричать,

плакать. Ах, как *это будет смешно, что они будут плакать*, и маменька станет рассказывать, как она меня любила»⁶². (А Марья Алексеевна действительно любила дочь, по свидетельству самого автора.) Какая нежная душа, эта будущая эмансипаторша женщины?! Не тревожьтесь, читатель: Верочка не удушилась, она пошла к обеду, за которым Лопухов допьяна напоил Марью Алексеевну, чтобы во время ее сна положительно объясниться с Верочкой. «Вы знаете, что я говорил: да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны. — Милый мой! ты видел, я плакала, когда ты вошел, это от радости. — А вот, Верочка, в начале июля кончатся мои работы по Академии, — их надо кончить, — *чтобы можно было нам жить*» (А мы было в простоте сердца и поверили автору насчет бескорыстной любви к науке новейших академистов).

«Ах (без *ахов* и без *миленький* положительная Верочка рта не раскроет), мой милый, нам будет очень, очень мало нужно. Но только я не хочу так: я не хочу жить на твои деньги. — Найду уроки.

— Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка?

— А ты думаешь, я уж такая глупенькая, что не могу, как выражаются ваши книги, вывести заключение из посылок?

— Да какое же заключение? Ты *Бог знает что говоришь*, мой милый друг Верочка.

— Ах, хитрец! он хочет быть деспотом, хочет, чтобы я была его рабой! Нет, этого не будет, Дмитрий Сергеевич, понимаете?

— В вашей натуре, Вера Павловна, так мало женственности, что, вероятно, вы выскажете совершенно *мужские мысли*.

— Стало быть, *женские-то мысли* никуда не годятся?

— Ах, мой милый, скажи: что это значит эта „женственность“? Ведь это глупость, мой милый?

— Глупость, Верочка, и очень большая пошлость»⁶³.

Вот тебе и материалист! Вот тебе и натуралист!

Мы думали, что изучение природы состоит в наблюдении ее явлений, — и жестоко ошибались. Быть натуралистом значит пребывать в тупой слепоте перед ежедневными и повсеместными явлениями природы. Воззри на петуха и курицу (оба куриной породы). Как он бодр и воинствен в своих золотистых косицах и острых шпорах. При одном виде такого молодца — соседний петух приходит в злобу или в страх. Он по опыту знает, что эти шпоры не пустое украшение. Тут нельзя безнаказанно сунуться в чужое

владение. Молодец петух знает, что домовитым пестреньким курочкам некогда теперь разыскивать пищу. В воздухе плавают неслышный коршун, проносится острокрылый ястреб, жужжит бабобан ⁶⁴, да и неуклюжая ворона повадилась таскать цыплят. Курам теперь одна забота: привести врага скорее в куст, да распусть крылья над окликнутыми птенцами. Зато молодца-петуха никто не обидит. Подпахали огород, и по бороздам он разыскал целый ряд земляных червей. Как гордо потрянул он красным гребнем и громко, в два толчка пустил свое: кок, кок. На знакомый призыв весь куриный народ бросился на добычу, а петух клюнул и, как будто не его дело, отошел рыться в сторону. Что ему? Он везде себе найдет корму, он не курица. — Недаром простой народ считает худым предзнаменованием, когда курица запоет петухом. Но этого никогда не бывает. Кричат иногда молодые петухи, которых трудно отличить от кур. Вот вам мужественность и женственность в природе. — Все это мы знаем без вас, — восклицают прогрессисты естественники. — Но все это *большая пошлость*, которую мы переделаем. Вы предполагаете, что это трудненько. Это только потому, что вы не знакомы с нашими новыми книгами (для нас с тобой, здравомыслящий читатель, — со старою чепухой). Потому, продолжают эти господа, что вы не знаете сочинений нашего главы Фурье ⁶⁵. Прочтите-ка его космогонию и тогда увидите, что естествоведение не должно оставаться тем бесплодным балластом, которым мы теперь вынуждены набивать себе голову — для экзаменов (не к ночи будь они помянуты). Вот его слова: «Знание системы природы было бы бесполезно, если бы оно нам не давало средств уничтожить существующее зло и заменить разделяющие явления, вредные творения *противусозданиями* (contre-moulés) и полезными слугами. Какая польза знать порядок, в котором звезды возникают в творении, знать, что в этих изменениях лошадь и осел созданы Сатурном, зебра и квагга Протеем ⁶⁶, еще не открытым астрономией, но который тем не менее существует, потому что мы видим его произведения».

« — Помилуйте, господа, — восклицаем мы в свою очередь, — да смеем ли мы — после очевидного существования ослов на земле, хоть на минуту усумниться в существовании небесного Протея? »

«В высшей степени важно (продолжает тот же мудрец), будет ли для нас искусство ввести планеты в новое творчество посредством *противуположной работы* (travail contremoulé). Таким образом, планета, породившая льва, дала бы нам как *противусоздание*

(contremoulé) превосходное и послушное четвероногое, эластического носильщика — *анти-льва*, на котором ездок, выехавший утром из Кале или Брюсселя, будет завтракать в Париже, обедать в Лионе и ужинать в Марселе, утомясь гораздо менее за весь день, чем наш верховый курьер, потому что лошадь — тряский и первобытный (solipedè) носильщик, который будет относиться к анти-льву, как нерессорный экипаж к рессорному. Приятно будет жить в мире, снабженном такими слугами. (Еще бы!) Новые создания, осуществление которых можно видеть *через пять лет* (прошло уже 50), распространят такие богатства *во всех стихиях*. В воде и на земле. Вместо *китов* и *акул* появятся *анти-киты* — возить корабли, во время затишья. *Анти-акулы* — помогать ловить рыбу. *Анти-гиппопотамы* — возить корабли по рекам. *Анти-крокодилы* — помощники на реках. *Анти-морские собаки* — или морские бараны» (Traité d'association, ч, 1. стр. 519).

После таких блестящих успехов естествоведения, что же стоит этим господам заставить курицу петь петухом или выгнать женственность из природы? Объявить ее очень большою пошлостью да спихнуть на неоткрытую планету, и делу конец!

Вот насчет целесообразности женского труда наравне с мужским как средства избежать мужского деспотизма — еще можно поспорить с Верочкой. Самый усиленный и тяжелый труд в этом случае плохая гарантия для женщин. Нам, русским, очень хорошо известно, что черкес ничего не делает, а все мужские работы лежат исключительно на женщинах, между тем не только отец, но даже сынишко, как только в силах держать палку в руках, бьет ею свою мать, которая видит в этом только должное. Не поискать ли гарантии в чем-либо другом, вроде образования и взаимного уважения? А этого взаимного уважения не упрочишь детскими разделениями комнат между супругами, разделениями, сочиненными Верочкой и ею же самой неоднократно нарушенными.

В таком созидании теории домашнего благополучия проходили беседы жениха и невесты.

«Так они поговорили, — *странноватый* разговор для первого разговора между женихом и невестой, и пожали друг другу руки — и пошел себе Лопухов домой — рассуждать, что недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло — *какого рожна горячего мне еще нужно?* А это у меня будет. Но женщине молоденькой, хорошенькой этого мало. Ей нужны удовольствия, *нужен успех в об-*

ществе. А на это у ней не будет денег»⁶⁷. Где ж ваше равенство, г. Лопухов, если одним хорошеньким это нужно? И откуда вы взяли, что каждой хорошенькой *нужен успех в обществе?* В каком это обществе? Если в том, где только локти целы, то это общество не взыщет и на неблистательном костюме, а если все захотят блистательных, то их неостанет и тем, которые и по положению, и по средствам имеют на них право. Вы, г. Лопухов, заработайте блестящие костюмы, коли они вам так необходимы, и будьте уверены, что даром вам никто ничего не даст. Даром ничего нельзя иметь, кроме ваших анти-львов, какими на деле и являются жалкие *хлыщи-онагры*⁶⁸.

Свадьба отложена до окончания женихом курса. Но Верочка не может дожидаться — худеет и плачет. Лопухов это видит и говорит сам с собою: «Гм, гм! Да! Гм! — Глаза нехороши. Она плакать не любит. Это не хорошо. Гм! Да!»

«Вторник.

— Ах, мой миленький, я уж и дни считать перестала. Не проходят, вовсе не проходят.

— Верочка, мой дружок! будь опять на той скамье, на Конно-гвардейском бульваре. Будешь?

— Буду; мой миленький, непременно буду.

Пятница.

— Верочка, ты куда это собираешься?

— Я, маменька? — Верочка покраснела (остаток большой прошлости), — к Невскому проспекту, маменька.

— Так и я с тобой пойду. — Вот и лавка Рузанова.

— Маменька, я вам два слова скажу.

— Что с тобою, Верочка?

— До свидания, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Петровичем (Лопуховым) третьего дня повенчались». Затем берется извозчик, которому дается фальшивый адрес, до первого поворота. (Что значит сойтись с людьми умелыми.) Благодарный автор и не подозревает, что его герои ни шагу не делают без подлогов. Но извозчик восклицает: «Ах! (В романе людей положительных все ахают) сударыня! обмануть меня изволили! Надо уж будет полтинничек положить».

— Если хорошо поедешь».

Самая «свадьба» устроилась не многочисленным, хоть и не совсем обыкновенным образом. Лопухов хмурил лоб над словами: кто повенчает? и все был один ответ: «никто не повенчает».

Имея в этом случае в виду, не говорим уже всю безнравственность, но даже криминальность акта венчания со стороны священника, здравомыслящий читатель готов заранее сказать вместе с Лопуховым: да, в Петербурге никто не повенчает. Если в бедной среде сельского духовенства могли попадаться экземпляры забубённых и алчных священников, решавшихся за большие деньги рисковать своим саном, то в Петербурге между более обеспеченным и образованным духовенством нельзя предполагать охотников на такие дела.

Но умелый Лопухов мгновенно выведен из раздумья счастливой мыслью. Он вспомнил, что в Петербурге, несмотря на гарантии порядка и законности, гарантии, заключающиеся в довольстве и образовании, — существует Медицинская академия.

«В Медицинской академии есть много людей всяких сортов (надо полагать!), есть, между прочим, и семинаристы; они имеют знакомства в Духовной академии, через них были в ней знакомства и у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной академии кончил курс год тому назад и был священником в каком-то здании с бесчисленными коридорами на Васильевском острове (как видите, военно-учебное заведение). Вот к нему-то и отправился Лопухов».

«Мерцалов, сидевший дома один, читал какое-то новое сочинение — то ли Людвика XIV⁶⁹, то ли кого другого *из той же династии*» (словом — атеистическое). Назидательные чтения не бесплодны для Мерцалова. Он не только не прочь повенчать, ему этого даже «хотелось бы, да жаль попадья». Но попадья сама вбегает и, узнав в чем дело, восклицает: «Алеша, ведь не съедят же тебя! — Риски, Алеша, я тебя прошу.

— Так разговор кончен. Когда хотите венчаться?»

«В понедельник поутру Лопухов объяснял Кирсанову, что, не кончая курса, женится. Имея наличных 160 рублей, Лопухов надеялся найти уроки (мы видели какие), литературную работу (без таланта), занятия в какой-нибудь купеческой конторе — все равно». — Известно, что купеческие конторы преимущественно ищут для своих занятий вовсе неприготовленных к ним не кончивших курса мещан-проходимцев, зарекомендованных скандальными историями.

В среду Лопухов и Верочка сошлись на бульваре. — «Через три дня верно найду квартиру и можно будет поселиться с тобою вместе?» — «Можно, голубчик мой, можно».

— Но ведь прежде надобно повенчаться.

— Ах, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде. Пойдем, миленький, повенчаемся».

Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к (тут же в корпусе живущему) Мерцалову. — «Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться?»

— Да, мой миленький, только как это стыдно! — (А бежать от матери, чтобы без венца жить со студентом не стыдно!) — «В половине службы пришла Наталья Андреевна или Наташа, как звал ее Алексей Петрович (Мерцалов), и просила зайти к ней к завтраку: зашли, посмеялись, даже потанцевали две кадрили в 2 пары (Кирсанов — шафер); даже вальсировали. Алексей Петрович, *не умеющий танцевать, играл им на скрышке*»⁷⁰. Жаль, что только за неумением Мерцалова дело стало, а то бы и поп-атеист — прошелся к вящему назиданию.

Следя за ходом романа, здравомыслящий читатель давно понял, какому сорту людей автор дает исключительное название — *порядочных*. — Вы спрашиваете: да какая же надобность атеисту идти в то звание и на ту службу, которая неминуемо должна превратить всю его жизнь в бесконечную ложь — и в тягостный для него же самого подлог? — Сейчас видно, что вы не читали польского революционного катехизиса⁷¹. Смотри на Россию как на здание, которое во что бы ни стало должно подорвать, это учение предписывает каждому адепту стараться завладеть самыми влиятельными местами. Известно, что разрывной снаряд только тогда действует со всей разрушительной силою, когда перед взрывом успеет вонзиться в свою цель. Мерцалов-атеист — нуль. — Но Мерцалов — корпусный законоучитель — почище всякой девимовской пули⁷² и даже шрапнелевской гранаты⁷³.

Что ж Марья-то Алексеевна? Умелые люди загодя рассчитали на ее безмолвие. «Никто не знал лучше Марьи Алексеевны, что дела ведутся деньгами и деньгами, а такие дела большими и большими деньгами и, вытянув много денег, — *кончаются совершенно ничем*». Чего ж тут Мерцаловым-то бояться. Квартира отыскана в 5-й линии Васильевского острова. Молодые поселяются, и автор, воздав Марье Алексеевне дань симпатии за ее здравый ум, расстаётся с нею навсегда.

Этим кончается I часть романа.

«Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопухова шли хорошо». У них две разных спальни, нейтральная столовая и один к другому не смеет входить не одетый. Обычай старый между людьми богатыми и невозможный между бедными, получающими 80 р. в месяц в Петербурге. Однажды Лопухов, возвратясь с урока, нашел Верочку сияющей гордостью и радостью. Избавляем читателя от утомительных выписок всех неуклюжих сцен лакейских нежничаний наших героев.

«Мне давно хотелось что-нибудь делать. — Надо завести швейную», — Главное, надо при выборе немногих рабочих, чтобы это были люди: «честные, хорошие, не легкомысленные, не шаткие, настойчивые и вместе мягкие, чтобы от них не выходило пустых ссор и чтобы они умели выбирать других — так?»⁷⁴ Какая, подумаешь, эта Верочка *невзыскательная!* Все приведенные качества так легко соединены в петербургской швее! хотя перед ними спасовали бы люди, удостоенные Монтионовской премии⁷⁵. — «И надобно, чтобы девушки были хорошие мастерицы; ведь нужно, чтобы дело шло собственным достоинством, все должно быть основано на торговом расчете». Не все же, в самом деле, бегать за людьми сильными да умелыми, как например за Сержем, содержанием *Жюли*, когда вышли недоразумения с частным приставом. Недаром мещанка, у которой живут Лопуховы, принимает блестящего Сержа за генерала и удивляется, что «наш-то, т. е. Лопухов, курит при генерале и развалился; да чего? папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил свою-то». — Эта, впрочем ничтожная, черта очень характерна у Лопуховых. Благовоспитанный Серж (если только в этом случае поверить автору на слово), стоящий на ступенях общественного положения гораздо ближе ко всевозможным высокостоящим, чем Лопухов к его камердинеру, очень хорошо знает, где можно и где нельзя курить, да еще развалясь, и потому не станет хвастать тем, что курит, где ему можно, а неотесанных Лопуховых посади за какой хочешь стол, они сейчас же ноги на стол. Потому-то Лопуховы и видят молодечество в том, в чем Серж его и не подозревает. Видно, Лопухов, прежде всех кухарок, чувствует свою браваду и хвастает ею. Это, видите ли, игра в общественное положение.

Спрашивается, кого же тут обманывают Лопуховы: кухарок или благодушных генералов, которые на это не обращают внимания? — но уже никак не самих себя. Лопуховы слишком хорошо видят и чувствуют бездну, которая отделяет их от истинно поря-

дочных людей, бездну, составляющую для них ежеминутный источник бессильной злобы и тех яростных галлюцинаций, которым разбираемый роман служит осязательным воплощением. Покровительница Верочки Жюли смотрит ее работу, одобряет ее и делает заказы, хотя и замечает, что хороший магазин должен помещаться на Невском. «Это будет со временем», — отвечает Верочка.

— А этот Сторешник (так называет Жюли Сторешникова) две недели кутит ужасно; но потом помирился с Аделью; только жаль, что Адель *не имеет характера* (т. е. не обдирает Сторешникова). И на мудреца бывает простота. — «Теперь m-lle Розальская уже *дама*, и Жюли не нужно сдерживаться. Вошел Лопухов. Жюли обратилась в *солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта*». Видите, это любимая струна романиста. Жюли, попадья и Верочка не только женщины (к позору своего пола) — они еще непременно *светские* — да еще и *дамы*. Бедные дамы! — вы, мало читающие по-русски, и не подозреваете, в какую милую попали компанию! «Дня через четыре Жюли привезла к Лопуховым Сержа, сказав, что без этого нельзя: „Лопухов был у меня, ты должен сделать ему *визит*“»⁷⁶.

Очевидно, выдумка Лопухова. Жюли не могла сказать такой галиматши. У Лопуховых собирались гости — все больше молодежь, толковавшая с Мерцаловым и Кирсановым о Либихе⁷⁷ и о *матерях важных*⁷⁸. «Дамы по временам и вслушивались в эти учености, а больше — больше, разумеется, не слушали, *даже обрызгали водою Мерцалова и Лопухова*, когда они уже очень восхитились минеральным удобрением». Хорошо еще, что водою!

«И вот Вера Павловна засыпает и снится ей сон.

Поле, и по нем ходит муж, т. е. миленький, и Мерцалов, и миленький говорит: „вы спрашиваете, почему из одной грязи родится пшеница такая белая, а из другой не родится?“» Оказывается, что одна грязь текучая, другая стоячая. — «Да, движение есть реальность, потому что движение это жизнь, а реальность и жизнь одно и то же. — Без движения нет реальности, потому что грязь *фантастическая*, т.е. пошлая. А тут дренаж — и грязь реальная, здоровая». Верочка ничего не понимает и мы тоже. Но поп Мерцалов говорит: «давайте играть, давайте *исповедываться*». Исповедь начинается с Мерцалова, который говорит: «Моя мать бедная дьячиха, держала семинаристов и работала. *Реальное* раздражение нерв чрезмерною работою было причиной тому, что она бивала нас». — Это реальная грязь.

Является Серж на исповедь. «Мой отец и мать, хотя и богатые, вечно хлопотали о деньгах; и богатые не свободные от таких же забот...»

«Не исповедуйтесь, Серж, — говорит Мерцалов; — мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном, — вот ваша почва — *фантастическая*. Вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, не хуже и не глупее нас (какова честь!), а к чему вы пригодны, на что вы полезны?» — «Пригоден провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить», — отвечает Серж (в галлюцинациях Верочки). Бедняжка Серж, ему, вероятно, пришлось, рискуя ежеминутно жизнью, очищать с эскадром или ротой литовские леса от разбойников, но он решительно непригоден быть попом-атеистом и бесполезен в роли Лопухова-социалиста.

Для окончательного разъяснения реальной и фантастической грязи является во сне мать Верочки — пьяная Марья Алексеевна — и уже неопровержимо доказывает, что она *зла* не потому, что *зла*, а потому, что *добра*, и для того, чтобы от нее, злой, родилась добрая *дама* Верочка. — Разве без злых нельзя? спрашивает Верочка. — «После будет можно, *когда не нужно будет людям быть злыми* ⁷⁹. — В конце сна Верочка запекает: *donc vivons!* ⁸⁰ да так громко, что Лопухов *без доклада* входит в ее спальню — и тем нарушает общий уговор невмешательства.

Мастерская Веры Павловны устроилась, и в конце месяца Верочка раздает швеям не только возвышенную против других швейных условную плату, но и весь без остатку *чистый барыш*, ничего не отлагая в запасный капитал, составляющий необходимую потребность всякого коммерческого предприятия. «Добрые и умные люди написали много книг, о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо; и тут главное, говорят они, в том, чтобы мастерские завести по новому порядку» ⁸¹. — В числе этих книг, как видите, и роман «*Что делать?*» — *Как делить прибыль?* Вера Павловна довела до того, что делила ее «*поровну между всеми*».

Главная закройщица и подогревалыщица утюгов получали одинаковую долю. — Ах, Вера Павловна, и что это вы все читаете одни хорошие книги, вы хоть бы заглянули в какое-нибудь дрянное руководство политической экономии. Тогда бы познакомились вы со следующими бесхитростными соображениями: Как скоро, согласно желанию вашему, все швеи разойдутся по

мастерским, то прибыль этих мастерских из необыкновенной — превратится в обыкновенную (ведь других не будет) и тотчас в силу закона предложения капиталов сравняется с прибылью всех других производств — следовательно, понизится до того уровня, из которого вы теперь хлопчете вывести ваших швей. Какая же сумасшедшая добровольно станет добиваться долготлетним трудом и вниманием знания закройщицы, которой даже при теперешнем порядке — по вашим же словам — очень тяжело, — если кроме того вы заставили ее разделять и без того скудную прибыль с беспомощными и мало полезными носительницами утюгов? — Но станет ли Верочка размышлять о таких пустяках? Устроив швейную, она устроила и развлечения. «Бывали вечера, бывали загородные прогулки: сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще; брали логи в театре. На третью зиму было абонировано десять мест в боковых местах итальянской оперы»⁸². — Так вот оно куда пошло? Вот где реальное-то, необходимое-то, о котором вы хлопчете? Как же другие швей — искусные, целый день гнут спину, не помышляя об итальянской опере, а ваш сброд все гуляет за городом да по театрам и благоденствует? Куда ж девалась трудовая, реальная грязь ваших снов, Верочка? Или это были только несбыточные, праздничные сны до обеда⁸³, и все повествуемое есть фантастическая, гнилая грязь, — неспособная производить белую пшеницу? Впрочем, швейную нечего укорять за излишние и незаконные претензии, хозяйка заведения им живой пример несусыпной деятельности. «Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в постели; она любит нежиться, и немножко будто дремлет, и не дремлет, а думает, что надобно сделать. (В полудремоте-то?) И так полежит, не дремлет и не думает — нет, думает (игра в любишь не любишь): «как тепло, мягко, хорошо, славно нежиться поутру». — А подумала ли она хоть раз — нежится ли кухарка, которая у подобной хозяйки пять раз должна доливать и разводить выкипающий и заглохший самовар? — Станет ли такая дама думать о такой дряни? Ей впору думать о спасении человечества, а если хоть одна кухарка завелась — души ее без милосердия. «За утренним чаем Верочка пьет не столько чай, сколько сливки: чай только предлог для сливок, их больше половины чашки; сливки — это тоже ее страсть». — Вы видите, Верочка нежится и пьет сливки, мало того, *«умывается, пьет чай в постели»*. После обеда сидят еще с четверть часа с

миленьким, «до свиданья» и расходятся по своим комнатам, и Вера Павловна «опять на свою кровать, и читает, и нежится, чашечку даже спит, даже очень часто, даже чуть ли не на половину дней спит час, полтора, — это слабость, и чуть ли даже не слабость *дурного тона*»⁸⁴. Как эти Лопуховы хлопочут о хорошем тоне! Что у кого болит, тот про то и говорит. Но нельзя не отдать им справедливости в том, что они люди умелые. Подумайте: Верочка спит и пьет сливки, ничего не берет из прибыли швейной, ездит по гостям, а живут отлично, у них и Эрраровский рояль *хорошего тона* за 170 р., и швейная процветает. — Мы не обратили, здравомыслящий читатель! никакого внимания на эту фантастическую швейную, если бы не одно обстоятельство. Каждый основатель вольнонаемного ремесленного заведения имеет полное право раздавать всю прибыль рабочим и заводить порядки, кажущиеся ему наилучшими, с тем условием, чтобы эти порядки не вносили вредных элементов в общество. Если бы фантастическая швальня Верочки была не более как галиматейей, то и бог с нею; но она главным образом народная школа. Какие же науки в ней преподаются? — «Алексей Петрович, — сказала Вера Павловна, бывши однажды у Мерцаловых, — у меня есть к вам просьба. Наташа (попадья) уже на моей стороне. Моя мастерская становится лицом всевозможных знаний. Будьте одним из профессоров.

— Что ж я стану им преподавать? разве латинский и греческий, или логику и ретику? — сказал, смеясь, Мерцалов, — ведь моя специальность (закон Божий) не очень интересна, по вашему мнению и еще по мнению одного человека (Лопухова), про которого я знаю, кто он (атеист).

— Нет, вы необходимы именно как специалист: вы будете служить *щитом благонравия* и *отличного* направления *наших наук*.

— А ведь это правда (говорит Мерцалов). Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру.

— Например, русская история, очерки из всеобщей истории». (Известно, какую социалистическую дичь можно проповедовать под этими вывесками.) Но Мерцалов еще осторожней:

«Превосходно! — восклицает он. — Но *это* я буду читать, а будет предполагаться, что я специалист» (правительству скажут, что он законоучитель). «Отлично (продолжает он). Две должности: *профессор* и *щит*»⁸⁵. Мы с вами были убеждены в простоте сердечной, что законоучители военно-учебных заведений — щиты от атеизма и социализма, но автор открывает нам

глаза (если это только не невинная клевета?), что там законоучители щиты атеизма — от закона Божия. Это действительно новые порядки!!

После таких диковинок читатель вероятно извинит нас, что мы, в избежание длиннот, избавляем себя от труда охоты за мелкою дичью, попадающей на каждом шагу, — реальной грязи романа.

«Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша. Он уже имел кафедру»⁸⁶. Верочка живет и блаженствует с мужем. — Но. — Но труднее всего в романе понять и пересказать это *но*. Говорится много и хитро о людях честных и сильных, а на поверку во всем романе герои выходят людьми необузданными и слабыми. С первых пор женитьбы Лопухова на Верочке Кирсанов совершенно от них отстал. Верочка, хотя и не называет мужа иначе, как идиллическим эпитетом рублевой горничной: «миленьким», заметно скучает с этим «миленьким». Миленький на этот грех заболел и посылает за Кирсановым. Кирсанов сидит у больного и сидит у Верочки, которой на вопрос ее, отчего он их забыл, говорит какой-то вздор. Тут как раз в руку третий сон Верочки.

И снится Верочке сон⁸⁷:

Что, наговорясь с «миленьким», она в своей постеле читает и думает: «Что это в последнее время стало мне *несколько* скучно иногда! или это *не скучно*, а так? да, это *не скучно*... А через этого Кирсанова я пропустила „Травиату“⁸⁸ — *это ужасно!* я бы каждый вечер была в театре, если б каждый вечер была опера». — Так говорит Верочка, которая хлопочет о реальной грязи в отмену грязи фантастической. Ей, видите, и всем швеям, да чего тут церемониться, всем мужикам необходима каждый день итальянская опера. Это реальная грязь, на которой порастет белая пшеница. «А когда же это Бозио⁸⁹ успела выучиться по-русски? Но какие же смелые слова и откуда она выкопала такие пошлые стишки? да, она, должно быть, училась по той же грамматике, по которой я: только они приведены в пример для расстановки знаков препинания; как это глупо приводить в грамматике такие стихи, и хоть бы стихи-то были не так пошлы; но нечего думать о стихах, надобно слушать, как она поет:

Час наслажденья
Лови, лови;
Младые лета
Отдай любви⁹⁰.

«Какие смешные слова: и *младые*, и *лэта* с неверным ударением!» Видишь ли, здравомыслящий читатель: тут уже устами верочкина сна говорит «Современник». Пушкин — пошл. Мы-де не уважаем никого, никакого авторитета. Пушкин, признанный всем коллективным умом России за гения, — не более как пошл⁹¹. С виду этот нигилизм только одна из вечных ступеней человеческого мышления — это, дескать, от латинского слова nihil — ничто и не более как стремление не принимать *ничего на веру*, не подвергнув критике. Вот и автор наш — ничего не принимает на веру, у него везде нигилизм, сомнение, скептицизм: дремала, не дремала, любишь, не любишь. Он так добросовестен, что и самые факты передает сомнительными красками. Что же дурного в скептицизме? *Вы всё* принимаете на веру, а «Современник» во всем сомневается. И вы правы, и он прав. Это было бы действительно ни хорошо, ни худо, если бы он сомневался во всем решительно. Тогда можно бы его направление отнести к одному из миллионных разветвлений вечно колеблющегося человеческого духа, ну хоть к вертящимся дервишам⁹². Но он играет в любишь — не любишь только официально, — в известных, для его целей неинтересных случаях, а в делах для него нужных его пушками не собьешь на нигилизм. Он кидает, например, грязью в Пушкина вовсе не за то, что Пушкин талант, нет, ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет. «Мы-де никого не уважаем. Он и власть, да не для нас, и мы приучим и других так смотреть — дорого начало».

Повторяем: стоило ли бы враждовать против мнения и вкуса «Современника» касательно Пушкина. Благо и сам «Современник» — не более как старый фрак, попавший на спину новейших его издателей с барского пушкинского плеча⁹³. А известно, что для камердинеров нет великих людей. Но если бы камердинеры вместо того, чтобы пускать в мелочных лавочках пыль в глаза, что мы-де все науки произошли, действительно знали хотя одну науку основательно, им было бы известно, что нет и не может быть науки — для устройства жизни, всякая наука существует, чтобы не говорили постыдного вздору вроде того, который Верочка бормочет во сне. Если бы вместо тупой галиматши об антильвах Верочка прочла русскую грамматику, то она бы узнала, что *младой* есть усеченная форма от *молодой* и что *лэта* два. Одно *лето*, т.е. год от рождества Христова, а другое *лето* — одно из времен года. Первое в винительном множественном имеет *летá*, а другое имеет *лэта*. Затем, если бы Верочка, не говорим уже о

знакомстве с классиками, прочла только какую-нибудь грошовую пиитику, то узнала бы, что поэты дали себе вечное право — употреблять *pars pro toto* — часть вместо целого: корма — вместо корабля, зима, лето — вместо года и т. д., — и мы не были бы в нашем рассказе задержаны невероятной чепухой. Бозию, приснившись Верочке, ясно показывает ей, что она не любит своего миленького — Лопухова, — а любит кого-то другого.

Кого же ищет Верочка? «Да ты не любишь его», — говорит Бозию, и Верочка проснулась, вскочила и босиком бежит к мужу через нейтральные комнаты («их теперь уже две»), и все устройство невмешательства опять разрушено. — Читатель видит, что мы подходим к концу любовных отношений героини к Лопухову — и к началу подобных же к Кирсанову. Позволим себе на прощание сказать о первых два слова. Изю всей хитрой и аляповатой постройки этих отношений мы видим только, что автор не имеет никакого понятия о чувстве истинной любви. Желая изобразить взаимность двух передовых любящихся, он не мог найти ни одной истинно человеческой струны в их отношениях. Это не любовь, а какая-то химера, высиженная тупым, фальшивым и резонерским представлением. Лопухов, которому Верочка передает содержание сна, мотаает его себе на ус: «А Кирсанов совершенно счастлив. Трудновата была борьба на этот раз, но зато и сколько внутренне-го удовольствия доставляла она ему, и это удовольствие не пройдет вместе с нею, а будет греть его грудь долго, до конца жизни. *Он честен. Да. Сон сблизил их*». Как вам нравится эта тирада? Весь роман написан, как увидим далее, на тему, что нет ничего бесчестного отбивать жену у самого близкого человека. Что совестьливость в таком деле не есть честность, а непростительная глупость, — и вдруг подобная тирада, в которой истина заговорила устами младенца. Вот и выходит: «Гони природу в дверь, она влетит в окно».

Придумали метод питания посредством втирания, но поставили пред систематиком пирог, а он его в рот. На что, кажется, Кирсанов нигилист, реалист и, главное, эгоист. У него все основано на расчете. Ему плевать дело откинуть в организме целого самостоятельного фактора, например, чувство. На что оно? Прочь его, коли оно не нравится нигилистам. Кирсанов недаром занимался вивисекциями, он хорошо знает, что животное продолжает жить и с вырезанной селезенкой. Но долго ли? — Это другой вопрос; поживет. И вдруг этот Кирсанов говорит: «В своем деле мудрено различить, насколько рассудок обольщается софизмами

влечения (явилось влечение), потому что честность говорит: *поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, что ты поступишь благородно*»⁹⁴. Куда же девалась теория ощущений и теория эгоизма, которую вы, г. Кирсанов, проповедуете? Видно, автор по теории эгоизма немного прихвастнул, сравнив себя с лучшими нашими романистами, у которых характеры ясно создаются в голове, — но такое хвастовство решительно безвредно и настолько же невинно, как рассказы Ивана Александровича Хлестакова о сочинении им «Юрия Милославского»⁹⁵.

Желая ярче обособить двух друзей, автор предлагает следующие их характеристики: Лопухов сын мещанина, Кирсанов сын писца. Лопухов часто ел мясо во щах, Кирсанов редко (вот первое право на превосходство). Лопухов учился без учителя тем способом по-французски, каким Кирсанов по-немецки, зато Кирсанов учился тем же методом по-французски, каким Лопухов по-немецки. В жизни и в нравственном направлении разница между ними еще возрастает. «Какой человек был Лопухов? — Вот какой: шел он в оборванном мундире (в период своего пьянства) по Каменно-Островскому проспекту (с урока в 50 к. сер.). Идет ему навстречу некто осанистый, моцион делает, да как осанистый прямо на него, не сторонится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь». (Видите ли, какой гордый искатель случая пострадать за убеждения и попасть на съезжую⁹⁶.) На улице никого не было, чтобы вступить за прохожего, и Лопухов его — в грязную канаву. Выпачканный *осанистый* наконец встал и пошел и никому не жаловался на нахала студента, а Лопухов уже и тогда разделял мнение Кирсанова насчет пощечин: «Мы не признаем, что пощечина имеет в себе *что-нибудь бесчестящее*, это глупый предрассудок, вредный предрассудок». Итак, валяй всех по зубам, а дадут самому пощечину — что ж? А платок-то на что? — утерся и ступай опять философствовать.

Вот с Кирсановым не было такого случая, а был другой. Некая дама, *у которой некие бывали на посылках* (так тонко, что и не видно!), вздумала, что надо составить каталог в ее библиотеке. Кирсанов взялся за дело за 80 р. сер. Вдруг дама говорит: «Не трудитесь больше, я раздумала, а вот вам» — и подает 10 р. — Я, ваше... сделал больше половины работы. — Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas, переговоры с господином. — Влетел Nicolas. — Как ты смеешь грубить маман? — Да ты, молоко-

сос, — воскликнул Кирсанов (человеку старше себя), — выслушал бы прежде. — Люди! — крикнул Nicolas. — Ах, люди? Вот я тебе покажу людей! — и уже одна рука Кирсанова притиснула к себе Nicolas, а другая, дернув его за вихор, схватила за горло. Кирсанов крикнул людям: стой, а не то я задушу его, — и, прошедши через толпу прислуги до последней ступени лестницы, толкнул от себя Nicolas и пошел покупать фуражку, взамен оставшейся в доме ⁹⁷. Если на Лопухова не жаловались, то кто же посмел бы жаловаться на Кирсанова или преследовать его по улице? — Но главное нравоучение: *порядочные люди* вроде Лопуховых, как видно из двух примеров, не должны жаловаться на несправедливость, напротив, должны сами выдумывать какое-либо нахальство и первого, не покоряющегося их выдумке, бесчестить пощечиной, в которой нет ничего обесчещивающего. Господи! да когда же мы наконец выйдем из этой дикой чепухи и, добравшись до конца романа, крикнем: берег, берег! ⁹⁸

Делать нечего, возвращаемся к рассказу! Обыкновенные порядочные люди, подметив в себе страсть к жене друга, не говорят о своей неслыханной честности и силе, а просто избегают встречи с предметом страсти и заглушают это чувство размышлениями о всем безобразии ее последствий. Но наши герои — герои только на словах, а на деле не только Лопухов, но и Кирсанов только безнравственный *слабец*. Иногда у героев как бы невольно вырываются здравые суждения. Так, например, «Вера Павловна любила доказывать, что мастерская идет *сама собою*, но, *в сущности*, знала, что только обольщает себя эту мыслью, а на самом деле мастерской необходима руководительница, иначе *все развалится*». Эти слова кажутся здравомыслящими. Но на наших героев здравомыслие находит временное, не оставляя ни малейшего следа в обычном течении суждений и поступков. В желтом доме такие явления ежедневны. Верочка, несмотря на собственное сознание, основала швейную и завела по такому же образцу другую — единственно с целью доказать возможность самостоятельного существования таких заведений, независимо от антрепренера. Кирсанов, основавший систему жизни на расчете (ума?), вдруг в беседе с Лопуховым изрекает следующее: «Но то, что делается по расчету, по чувству долга, (как будто это одно и то же?), по усилию воли, а не по влечению природы, выходит безжизненно. Только убивать можно этим средством, а делать живое — нельзя» ⁹⁹. Но «вперед, вперед моя история!» ¹⁰⁰

Лопухов, увидав любовь Верочки к Кирсанову, предлагает ей пригласить Кирсанова жить с ними. «Ведь ты знаешь, как я смотрю на это»¹⁰¹. Верочка, поняв, к чему дело клонится, не соглашается и — тоскует. Лопухов, которому, в свою очередь, надоела жена, отправляется доказывать влюбленному Кирсанову, что его долг взять Верочку в любовницы. Кирсанов, разделяющий подобную философию, которая ему в настоящем случае с руки, по остатку *глупых предрассудков* все еще не поддается. Здесь мы пропускаем совершенно не идущий к ходу романа эпизод — рассказ Крюковой, заключающийся в том, что когда она еще по ночам бегала пьяная по Невскому, то насильно ворвалась к студенту Кирсанову, который возвысил ее своею любовью до высшего просветления чистоты (*sic!*)¹⁰². «Лучшее развлечение (от) мыслей — работа, — думает Верочка, — буду проводить целый день в мастерской». Но ведь это слова, а на деле Верочка продолжает пить сливки и благодарить мужа за усиленный труд. — «Ведь это все, я знаю, для меня. Как я тебя люблю», — и теория равенства труда и коммерческой независимости — забыта.

Однако главное дело: передача жены с рук на руки Кирсанову — все-таки плохо подвигается. Напрасно честный Лопухов прибегает к обычному своему средству лжи и силится представить жене сожителство с Кирсановым необходимым только со стороны коммерческой. Дешевле будет жить. «*Я мог бы вовсе бросить эти проклятые уроки, которые противны мне,* — говорит он, — и усерднее заняться в заводской конторе, которая не надоела, потому что это *дает влияние на народ целого завода,* — и Лопухов успевает кое-что там делать»¹⁰³. После таких наивных признаний в добросовестном исполнении должности домашнего учителя и не менее наивных замыслов против нравственности целых заводов — неудивительно, что гг. заводчики берут к себе управляющими только людей основательно рекомендованных и так ревниво охраняют свои заведения от вторжений проходимцев — вроде Лопуховых, Кирсановых и Рахметовых (о последнем мы еще ничего не сказали, но и до него дойдет очередь). Кирсанов вполне согласен с Лопуховым, что по нравственному принципу *их учения* чужая жена должна для сохранения человеческого достоинства жить с первым приглянувшимся посторонним человеком, но что, к несчастью, время на это не пришло. Теперь, пожалуй, по глупости общества, женщина будет скомпрометирована подобным актом. Как же устроить

дело так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? т. е. чтобы и жену свести с приятелем и чтобы общество — — —. Но ведь общество, в котором живут Лопуховы, начиная с Мерцаловых, за рукоплещет такому поступку!? Какое вам дело! Лопухов не хочет, чтобы m-те Лопухова-Кирсанова была скандальной сагой высшего круга. Разве он не имеет права так далеко распространять свои попечения? Но как же быть? *Что делать?* На такой вопрос у истинно честных людей один ответ. Рассчитай, что тебе лично выгодней, и затем приступай к ряду обманов и подлогов, и если поступишь так — одобрение.

Начитанный Лопухов вспомнил, как в одном из романов Ж. Занда герой Жак *сходит* в подобном случае *со сцены* ¹⁰⁴. Чтобы развязать жену, Ж. Занд заставляет Жака броситься в пропасть, т. е. умереть; и вышел *любящий*, да еще и *дурак*. Но Лопухов — эгоист и *не дурак* умирать за надоевшую жену. Он говорит жене, что едет по делам завода в Рязань и Москву, возвращается в петербургский трактир железной дороги и, оставя на столе записку для полиции, что он самоубийца, выстреливает ночью на мосту из пистолета в фуражку, которую и бросает тут же в доказательство своей смерти, а сам бежит за границу. Этой эффектной сценой начинается роман, с целью, как объясняет автор, забрать публику в руки. Эпизод носит заглавие: «Дурак»! ¹⁰⁵ — а на поверку выходит, что дурак-то *сильно себе на уме*. Полиция засвидетельствует верочкино вдовство, и только от ее воли будет зависеть выйти за Кирсанова, а публика — молчи. А чтобы неутешная вдова не слишком сокрушалась, Лопухов извещает ее через Рахметова, что самоубийство не более как шутка и что он, Лопухов, жив и здоров, чего и ей, жене своей, желает, так же как мужу ее законному, Кирсанову. С поручениями уговорить Верочку на брак от живого мужа — является к ней *Рахметов*.

«Ну, — думает проницательный читатель, — теперь Рахметов заткнет за пояс всех и Верочка в него влюбится, и вот снова начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лопуховым. Ничего этого не будет» ¹⁰⁶. — Кто же и что же такое — этот Рахметов? — О! О! У! У! Говорите о нем потише. У автора при одном имени его захватывает дыхание от преданности и уважения. Недаром он озаглавил свой о нем рассказ словами: «Особенный человек». «Если, — говорит он, — вас удивляют личности вроде Лопуховых, Кирсановых, то что бы вы сказали о Рахметове, если бы мне про него можно было все рассказать». — Жаль, что

нельзя! Интересно было знать, на какие чудеса способен этот особенный Рахметов, после *легкого абриса профиля*, предлагаемого автором на суд публики. Таких людей немного, сам автор сознается, что в жизни встретил только восемь таких (в том числе двух женщин) ¹⁰⁷. Интересно было бы хоть мельком взглянуть на последние два экземпляра, да куда нам с вами, проницательный читатель!

Наши «глаза», по уверению автора, не так устроены, чтобы видеть таких людей: их видят только честные и смелые глаза, а для того и служит описание такого человека, чтобы мы хоть понаслышке знали, какие люди есть на свете. «Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, т.е. одной из древнейших в Европе. Отец его, генерал-лейтенант, оставил тысячи 2 $\frac{1}{2}$ душ и 8 человек детей. Наш Рахметов получил около 400 душ и 7 000 десятин земли. Поступив в Петербургский университет, он еще был *обыкновенным добрым честным* юношею, но узнал, что есть между студентами *особенно умные головы*, думающие *не так*, как другие, и сблизился с пятью такими людьми — *тогда их было еще мало*. (А теперь, слава Богу, — урожай!) Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение в *особенного* человека. В качестве необыкновенного человека он, разумеется, бросил учение со 2-го курса и ринулся в действительную жизнь. Как он распорядился с душами и 5 500 десятинами — не было никому известно, не было известно и то, что он оставил себе 1 500 десятин, которые отдавал в аренду за 3 000 р., а не за 400, как думали знакомые. Вышел из 2-го курса 16 лет, он поехал в имение, где, несмотря на сопротивление опекуна, так распорядился, что заслужил анафему от братьев и достиг, что мужья запретили его сестрам произносить его имя. Устроившись таким образом, он пустился по России пешком, на расшивах ¹⁰⁸ и все устраивал сам себе приключенья. Он был атлетического сложения, и товарищи прозвали его Никитущкой Ломовым в честь одного силача-бурлака. Был он пахарем, плотником, перевозчиком и даже прошел бурлаком всю Волгу от Дубровки до Рыбинска. Рахметов принял боксерскую диету и кормил себя исключительно сырым бифштексом. «Задатки хорошие, но он развил их в положительную систему, которой держался неуклонно. Он сказал себе: я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщинам. А натура кипучая. Зачем это? Так нужно. Мы требуем *этого* не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, — не по пристра-

стию, а по принципу, не по личной надобности, а по убеждению. — То, что ест по временам простой народ, и я могу есть, — говорит Рахметов, — и ел апельсины в городе, но не в деревне, а паштеты везде, потому что иной паштет хуже пирога, но сардинок не ел. Спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое». Была у него одна «*гнузная слабость*» — хорошие сигары.

Вот как было дело при посещении Рахметовым г-на Чернышевского, о котором автор сам рассказывает. Пришел Рахметов склонять автора на какое-то хорошее дело (истинно змей-соблазнитель — очковая змея!). Рахметов говорит: «надобно». Г. Чернышевский говорит: «нет». Рахметов говорит: «вы обязаны». Г. Чернышевский говорит: «нисколько». Через полчаса Рахметов сказал: «ясно, что продолжать бесполезно. Ведь вы убеждены, что я человек, заслуживающий безусловного доверия? — Да, мне сказали это все, и я сам теперь вижу. — И вы все-таки, г. Чернышевский, остаетесь при своем? — Остаюсь. — Знаете вы, — продолжает Рахметов, — что из этого следует? То, что вы, г. Чернышевский, или лжец или дрянь!» (стр. 495)¹⁰⁹. Вот как должно убеждать! В известном кругу дружба имеет разные фазисы: она бывает *на ты* и *на врешь*. Рахметов прямо со 2-го курса вступает во второй фазис и, как особенный человек, дает ему и особенное развитие.

Герой героев Рахметов не мог оставаться без любовного приключения. Вот как оно у него разыгралось. У лесного института он остановил за заднюю ось шарабан 19-летней богатой вдовы, которую несла лошадь. Вдова спасена, но Рахметов расшиб грудь, и колесом вырвало порядочный кусок мяса из ноги. Дама приказала отнести его к себе на дачу, и когда он поправился, то, смекнув по платью, что он беден, — предложила ему руку и сердце. (Деликатная дама!) Но и Рахметов не менее деликатен. Откровенно высказав хозяйке свои планы, он дал ей понять, что ввиду ежеминутных недоразумений с полицией он не имеет права связывать чью-либо судьбу с своею. «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». Какие все развязные дамы попадают этим героям! Иной несчастный сутки целые гранит петербургские мостовые и все *тонирует* да *пленирует*, по выражению г. Островского¹¹⁰, боясь встречи с ночными красавицами Невского. И не подозревает, что тут-то самая чистота-то и сидит. «Нет, и этого не могу принять, — сказал Рахметов. — Любовь

связала бы мне руки, они и так у меня связаны.— Но развяжу...» ¹¹¹.— Вот страсти-то пойдут!

За год перед окончательным исчезновением из Петербурга (с тех пор только Петербург и вздохнул) Рахметов сказал Кирсанову: дайте мне мази для заживления ран от острых орудий. На другое утро хозяйка Рахметова прибежала к Кирсанову с воплем: «Батюшка, лекарь! не знаю что с моим жильцом. Заперся, я заглянула в щель, а он лежит в крови». И оказалась вещь, от которой и не Аграфена могла развести руками: спина и бока всего белья были облиты кровью, под кроватью была кровь, войлок, на котором Рахметов спал, тоже в крови. В войлоке были натканы сотни мелких гвоздей шляпками вниз, остриями вверх, они высовывались из войлока чуть не на полвершка. Рахметов лежал на них ночь. «Что такое, помилуйте, Рахметов? — Проба. Нужно. На всякий случай нужно. Вижу, могу» ¹¹².— Не кажется ли тебе, здравомыслящий читатель, подобная предусмотрительность крайней бесполезной нелепостью? Какие преследователи тычут в наше время гвозди в живых людей? А если Рахметов чувствует, что кончит не добром, то чем ему помогут гвозди? На то он и человек *особенный*, чтобы делать вещи непонятные. Он и выведен в романе, по признанию самого автора, только для масштаба. Он мерило нравственной высоты. Без него читатели, в простоте сердечной, слепоте, могли бы счесть Лопухова и Кирсанова за выродков, но теперь они увидят, что Лопухов и Кирсанов не выше обыкновенного уровня теперешней молодежи и что этой молодежи для достижения высоты Рахметова — еще долго нужно вникать в то, «*что делать?*».

Чем же необыкновенным — особенным отличается Рахметов от обыкновенных людей своей клики? До сих пор мы видим только в нем больше нелепой, но для общества безвредной экзальтации, чем в других. Какая беда, что он роздал 5 500 десятин кому хотел, таскал лямку и спал на гвоздях? Это только цветики, а про ягодки автор, по собственному признанию, и знает да молчит. Впрочем, это вечная метода всех иерофантов ¹¹³ показывать на пустой мешок и говорить: вот тут вся мудрость-то и сила. Я только не хочу его развязать, а вот первое апреля в 12 часов развяжу — так вы все ахнете! Сколько бы близорукие, поверхностные и убогие люди не кричали о каких-то результатах науки (подумаешь, что науки с своими результатами все еще в таинственных руках мемфисских жрецов ¹¹⁴) и сколько бы они себя не истязали — наука и обще-

ственная жизнь вечно будут идти своим неторопливым историческим ходом. Ни мировая, ни человеческая жизнь не знают беспричинных сальтоморталей ¹¹⁵, и долго еще курица не запоет петухом, а европейские женщины не отойдут от нежно любимых ими домашних очагов. Да и в России уничтожение крепостного права, волей-неволей оторвав наших женщин от фантастических утопий, приведет к подобным же мирным занятиям. Зато и нелепости Рахметовых не останутся без последствий. Сколько горячих и поздних слез выжмут они из тех глазок, которые когда-то сверкали радостью, — прочитывая благородные наставления и поучения в лицах героев романа «Что делать?». С какими, однако, наставлениями явился Рахметов к Верочке? Как систематик, Рахметов начал с того, что закатил Верочке 2 рюмки хересу, а затем показал письмо Лопухова, в котором тот поручает ее урокам Рахметова и извещает о своем здоровье. Из этого Рахметов выводит, что Верочке сокрушаться не о чем. Но как от душевного спокойствия до сближения с Кирсановым еще далеко, Рахметов приступает ко второй части убеждений. Проповедник религии эгоизма, он укоряет Лопухова в эгоизме (пойми, кто может!). Он доказывает, что Лопухов, смотревший просвещенными глазами на брак и супружеские отношения, т.е. всегда считавший их за ничто, не развивал этого воззрения в жене — только вследствие гнусного эгоизма, находившего такой акт несогласным с его интересами. «Вот мотив, — говорит он, — по которому Лопухов оставил вас неподготовленной и подверг стольким страданиям». Как вам это нравится!

« — Это неправда, Рахметов, он не скрывал от меня своего образа мыслей.

— Конечно, Вера Павловна. Он не мешал развитию в вас подобных мыслей, — *это было бы уж прямо бесчестным делом*. Он человек хороший, но прежде чем возникло дело, он поступал с вами дурно. Как допустил он в вас мысль, что это огорчит его? Это глупо. Что за ревности такие?

— Вы не признаете ревности, Рахметов?

— В развитом человеке *ей не следует быть*. Это исхоженное чувство, фальшивое, гнусное чувство, это то же что недозволение мною носить моего белья, курить из моего мундштука — взгляд на человека как на вещь.

— Но вы проповедуете полную безнравственность, Рахметов!

— Вам так кажется после четырех лет жизни с ним? Вот в этом-то он и виноват. Отчего он вас и себя не *подготовил* смотреть

на все это как на чистый вздор, из-за которого не стоит выпить лишний стакан чаю. Отчего бы вам не жить тогда же втроем с Кирсановым и все пошло бы само собою.

— Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи!

— Опять „ужасные вещи!“ Для меня ужасны мученья из-за пустяков и катастрофы из-за вздора. Выпейте еще рюмку хереса и ложитесь спать ¹¹⁶».

Но ведь ревность, г. Рахметов, замечаем мы с своей стороны, не есть исключительный продукт брака — ревнуют и к друзьям, и к местам, и к талантам (ставя себя без малейшего основания рядом с первоклассными), к любовницам и даже самым грязным искательницам приключений? Вы говорите — да, ревнуют люди неразвитые. Но эти неразвитые составляют весь старый, средний и новый свет, что указывает на ревность как на вечно присущего нравственного двигателя. — Положим, — отвечает Рахметов, — но и лошадь была вечно присущим другом человека, однако мы уже заменили ее анти-львом; отчего же нам не заменить и ревность благодушным свальным грехом. — Но ведь тогда не будет ни семейства, ни отцовских забот о детях? — Тем лучше! Это все галиматья и глупость. Все общество надо насильно перестроить и через тираническую диктатуру привести к блаженству помимо его желаний (хотя в романе и говорится, что никого не осчастливливать против его желаний).

Здесь, на рубеже 2-й части романа, мы навсегда расстанемся с Рахметовым — в надежде изложить в конце нашего разбора хотя в кратком очерке основные положения доктрины, которой следуют наши герои. Без этого бенгальского огня безумья ¹¹⁷ трудно выйти из мрачной бездны картавых противоречий вольных и невольных заиканий нашего романиста.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Успокоив сомнения жены, Лопухов не оставляет ее и из-за границы своей *нравственной* поддержкой. Для этого он вступает с Верочкой в переписку под именем отставного студента медицины. Хотя в сущности в этой переписке нет ничего нового касательно воззрений на брачные отношения, но мы приведем из них некоторые не совсем бесцветные курьезы. Лопухов, оправдывая свое преступное бездействие в деле *развития жены*, говорит: «Но человек до последней крайности старается сохранить поло-

жение, с которым сжился; в основной глубине нашей природы (безделица!) лежит консервативный элемент, от которого мы отступаем только по необходимости». Далее он говорит, что в браке легче всего впасть в ошибку насчет сходства или несходства характеров и что он (Лопухов) в свою очередь ошибся, — но что легко исправлять подобные ошибки частыми менками. Не переделывать же характера? *«Ведь переделка характера, во всяком случае, насильование, ломка; а в ломке многое теряется, от насильования многое замирает»*. Итак, постепенная добросовестная работа над собою двух людей, давших клятву жертвовать всем для взаимного блага и для блага детей есть ломка, от которой многое замирает (например, бесстыдство), а *насильственная ломка* элементов, лежащих в основной глубине нашей природы, не есть ломка. Сам Рахметов не признает этого *ломкой*. Потолковав о любви к жене, Лопухов продолжает: «Когда я увидел, что в жене не одно искание любви, а сама любовь к человеку, могущему ей вполне заменить меня — и *который страстно* любит ее, — я чрезвычайно обрадовался. Я уехал из Петербурга на другой день после того, как вы узнали о гибели Дмитрия Сергеевича (Лопухова). *По особенному случаю, я не имел в руках документов и мне пришлось взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из общих знакомых ваших и моих*. Он дал мне их с тем условием, чтобы я исполнил некоторые его поручения по дороге. Когда увидите Рахметова, скажите, что все исполнено. У меня есть несколько сотен рублей, и мне хочется погулять, не знаю где. Поэтому сделайте следующий адрес: Berlin, Fridrichstrasse 20, Agentur fon H.Schweigler и под конвертом другой конверт с цифрами 12345 — агентство Швейглера передаст письмо мне»¹¹⁸. А вы еще спрашиваете *«что делать?»*».

Все одно и то же. Ложь, обманы, подлоги — ибо теперь еще нужно и уже можно всякого рода проходимцам беспрепятственно получать фальшивые паспорта. Вот и простая разгадка тайных комитетов, существованием которых изумлен был мир. На этом месте любезный автор — завтракающий — затыкает всякому догадывающемуся, что письма студента суть письма Лопухова, рот салфеткой. Но так как догадаться было нетрудно и мы беседуем с читателем не изустно, а рук нам связать не пришло в голову, то мы и продолжаем.

Письма и увещания наконец приносят пользу. Верочка отвечает совершенно разумно, что напрасно Лопухов бегал за границу,

что дело можно бы уладить проще. Она пишет: «Если муж живет вместе с женою, этого довольно, чтобы общество не делало скандала жене, в каких бы отношениях ни была она к другому. Это уж большой успех».

Как же не успех! Ведь общество только и думает о том, как бы ему ворваться со скандалом в семейство Лопухово-Кирсановой. Как будто общество не знает о существовании в каждом городе различных увеселительных заведений? Что же оно до сих пор не врывается туда с своими нравоучениями? «Когда я после отъезда твоего, — продолжает Верочка, — поехала в Москву, то Александр (Кирсанов) и Рахметов были правы, что Александру не следовало ни являться ко мне, ни провожать меня. Но мне уже не нужно было ехать до Москвы, нужно было только удалиться из Петербурга, и я остановилась в Новгороде. Через несколько дней туда приехал Александр, привез документы о гибели Дмитрия Сергеича, мы *повенчались* через *неделю* после этой гибели и прожили с месяц на железной дороге в Чудове, чтобы Александру было удобно ездить в свой госпиталь. Обнимаю вас, милый друг, ваша Вера Кирсанова».

Следует приписка нового мужа к старому. «Жму твою руку, мой милый. Мы с тобой несколько стесняемся (вот что неразвитость-то значит!), но в следующий раз уже надеюсь рассуждать с тобой свободно и напишу тебе грудку здешних новостей. Твой Александр Кирсанов».

Ну что вы скажете, здравомыслящий читатель? Вы смеетесь? Вы душевно благодарите автора за доставленное вам высоко комическое наслаждение; но наслаждение ваше удвоится, когда вы увидите, что сам автор не только смеется, но добродушно хохочет над всем этим. «О эти люди очень хитры! — восклицает автор. — Я часто слыхивал от них, т. е. от этих и от подобных им, такие вещи, что тут же хохотал среди их патетических уверений, *что, дескать, это было для меня совершенно ничего, очень легко: разумеется, хохотал*, когда уверения делались передо мною человеком посторонним, и при разговоре *только вдвоем*. А когда то же самое говорилось человеку, которому это *нужно* слушать, то я *поддакивал*, что это, *дескать, точно пустяки*. Препотешное существо *порядочный* человек. Я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком»¹¹⁹. Давно бы вы так сказали, почтеннейший автор! Ведь мы тоже разговариваем с вами вдвоем. К чему же тут пыль-то бросать в глаза? Вы сами не ху-

же Шекспира знаете о вечно ощутительном присутствии ревности в природе, ревности, которой невозможно устранить никакими регламентациями ¹²⁰; но вам для ваших эгоистических целей необходимо, хотя и с тайным хохотом, говорить противное людям, которым *нужно это слушать*. Не велика беда, если и тысяча этих нужных людей погибнут от вашей науки, — вы все-таки пожугируете и похочете насчет их легкомыслия. Здесь мы опять щедрою рукою перевертываем страницы романа, прочтение которых справедливо считаем одним из энергичнейших подвигов. Там есть все, и чтение «Коробейников» г. Некрасова ¹²¹, и физиологические доказательства превосходства женщин над мужчинами, и ко всему этому непроходимое пустословие и сучка. Вследствие такого превосходства Верочка и за вторым мужем ищет самобытной деятельности. Завела новую мастерскую и передала ее Мерцаловой, но этого ей мало: она решается из лекарши сделаться настоящим медиком. Для изучения латинского языка она взяла Корнелия Непота ¹²², но, в сущности, осталась верна инстинктам праздности и ничем не оправдываемого сибаритства. «Просыпаясь, она нежится в своей теплой постельке, ей лень вставать — и дремлет, и не дремлет, и думает, и не думает». Теперь, видите сами, что должно пролетать время так, что Вера Павловна еще не успеет подняться, чтобы взять ванну и опять прилечь понежиться, отдохнуть, а часто даже не чаще ли так задумается и заполудремлет, что еще не соберется взять ванну, как Саша (Кирсанов) уж входит, вернувшись из гошпиталя.

Но как хорошо каждый день поутру брать ванну; сначала вода самая теплая, потом теплый кран завертывается, а кран с холодной водой остается открыт, и вода в ванне незаметно свежеет, свежеет, как это хорошо! А во всяком случае милый взял на себя неизменную обязанность хозяйничать за утренним чаем. Да и нельзя было бы иначе. Саша прав, потому что пить утренний чай, т.е. разгоряченные крепким чаем сливки — пить его в постели — чрезвычайно приятно». Словом, «она сохранила все свои, не поэтические и не изящные, и не хорошего тона свойства» ¹²³. Как видите, несносный *хороший тон* не дает этим людям дышать. Какая тут работа? Когда ею заниматься? — Между тем у Кирсановых родился сын и назван в честь Лопухова Митею. Вот она, деликатность-то искомого хорошего тону! В то же время Верочка говорит мужу: «На тебе я замечаю вещь гораздо более любопытную: еще года через три ты забудешь свою медицину и изо всех

способностей у тебя останется одна — зрение, да и то разучишься видеть что-нибудь, кроме меня». Сомневаемся, чтобы такая дама, как Верочка, удовлетворилась подобной метаморфозой.

«Как наш покрой платья портит нам стан! Но у меня эта линия восстанавливается, как я рада этому! Как ты хороша, Верочка! Как я счастлива, Саша!

И сладкие речи,
Как говор струй:
Его улыбка,
И поцалуй. ¹²⁴

Милый друг, погаси
Поцалуи твои и т. д. ¹²⁵»

Приведенные цитаты должны, как видите, представлять воочию поэзию в жизни.

Теперь, здравомыслящий читатель, обрати свое внимание на следующее обстоятельство. Поэзия, как и все искусства, хотя и почерпают свое содержание и берут материал для воплощения своих задач из действительного мира, тем не менее не только не тождественны с этим миром, но едва ли ему не противоположны. Человек не может ничего себе представить, чего бы он не видал — не знал в действительности, самое пылкое воображение способно только перемещать известные признаки в новых сочетаниях, т.е. представлять себе старое на новый лад. Но этот вечно неизбежный закон — эти вечно отрезвляющие кандалы — не составляют силы, а скорее являются бессилием искусства, вечно стремящегося за черту реального. Итак, реальность является только неизбежным условием, но не основанием. Основанием искусства служат те вечные колебания духа, которые в данный исключительный момент способны достигать неизмеримой высоты. На этих-то высотах и для этих-то высот творит вечное искусство. Что же тут общего с действительною будничною жизнью? Ничего. Это понятно самому бесхитрому уму. Но есть, к несчастью, люди, которые каждый предмет ищут не там, где следует. На бале дай им редьки, на огороде — конфеток. Этим-то неуместным исканием обессмертил себя известный рыцарь Дон-Кихот, видевший в мельнице гиганта, в баранах — врагов и, главное, Дульцинею везде ¹²⁶. Без этого неуместного искания — Дон-Кихот был бы образцом благородного рыцарства. Оно-то и погубило его, оно-то и низвело его на послед-

нюю ступень безрассудного и смешного. Мы толкуем о пользе искусства — эта польза огромна и исключительна. Ночная сцена Ромео и Юлии ¹²⁷ не затем существует, чтобы учить юношей лазить по окнам; этому всякий мошенник научит гораздо лучше Шекспира. Но для ее уразумения — необходимо, чтобы среди обычных волнений духа хотя одна волна его хотя на миг достигла той же высоты, на которой воздвиглась эта сцена у Шекспира. А вызывать дух на подобные высокие колебания значит очищать его и укреплять духовной гимнастикой. Это возвышение, очищение и укрепление духа есть исключительное призвание искусства. Другого у него нет. Поэзия — и вообще искусство — никогда не выдавала своих созданий за плотскую — реальную жизнь. Чем же, как не донкихотской слепотою, объяснить настойчивое гонение *нигилистов* на «искусство для искусства», которому так давно подвергается поэзия в «Современнике» и К^о? ¹²⁸ Обвинение, возводимое там на искусство, само по себе справедливо. Искусство, действительно, не заботится о реальной жизни прямо и непосредственно, оно влияет на человеческую жизнь иным путем — возвышая дух, от которого зависит эта жизнь. Но они этого не видят, а если видят, то не только говорят, что этого мало (какие скромные требования!), но утверждают, что это вредно, как чрезмерное волнение духа, выбрасывающее из действительности. Оно, по их словам, портит жизнь, ставя перед нею слишком высокие идеалы. И вдруг! — что же мы собственными глазами видим, здравомыслящий читатель! — сам глава этого направления — в «Современнике» — в собственном романе приводит ряд стихотворных цитат и всеми силами низводит их с поэтических вершин в прозаично-эгоистический мир своего духовного детища. Какое торжество поэзии! Первая цитата из песни поэтически чистого идеала Гретхен, обращающейся к идеальному Фаусту. Тут все высоко поэтично и потому гармонически верно. И вдруг эти слова в сближении с Верочкой и Кирсановым! Не менее яркое явление в этом роде представляет песня Кольцова:

Милый друг, погаси
Поцалуи твои и т.д.

Кто говорит эти слова? Все (идеально) и никто реально в целой России. Можно дать премию художнику за создание двух лиц, в устах которых эти слова, несмотря на их безотноситель-

ную красоту, не представляли бы нелепого безобразия и безвкусия. В кринолине перед фраком или сюртуком они невозможны и смешны. В сарафане и платке перед сибиркой, перетянутой кушаком, они не менее, если не более, невозможны. Если бы сарафан сказал: «Огонь пылает в груди», не только куры, галки бы падали со смеху на землю. — Вот что значит ничего не понимать в деле, в котором выдаешь себя за абсолютного знатока! ¹²⁹

«И снится Верочке сон; будто доносится до нее знакомый голос — издали — ближе, ближе, —

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die flur! ¹³⁰

И видит она, что это так, все так. Роскошная природа и солнце освещает обильные нивы. У подошвы горы (в России!) на окраине леса, среди цветущих кустарников, густых аллей воздвигается дворец. — Идем туда. — Они идут, летят. Роскошный пир. Пенится в стаканах вино (шампанское или донское?), сияют глаза пирующих. Тут и шепот под шум, смех и тайком (кому уж тут нужно тайком) пожатие руки, и порою украдкой слышимый за шумом (но очевидный для всех пирующих) поцалуй». Вы видите, читатель, сон Верочки уносит нас в один из фаланстеров, этот сладостный кошмар наших прогрессистов. «Песню! песню! без песни не полно веселье! (Давно ли это стало?) И встает поэт (высокий слог). Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песне рядом картин.

Топоры номадов — лошади, верблюды, пальмы и прекрасные жены. — У них одно дело любовь (совершенно наоборот, у номадов жены-то все и делают). Нет, говорит светлая красавица ¹³¹ (спутница Верочки в сновидении — новейший *Виргилий Данта* ¹³² в юбке), меня тогда не было, их царица *Астарта* ¹³³ — раба.

Новая картина. Греция. Судьи не решаются судить *Аспазию* ¹³⁴, потому что она слишком хороша. Они поклоняются красоте, но не признают прав женщин. Их богиня *Афродита* ¹³⁵, а меня еще не было.

Арена перед замком и турнир и история шиллеровского *Тоггенбурга*. «Это уж вовсе не обо мне, — говорит красавица. — Он любил

ее, пока не касался к ней. Тогда меня не было, ту царицу звали *Непорочностью*. Перед ней преклоняли колена. Она говорит: печальна до скорби смертной душа моя. Меч пронзил сердце мое».

Das Schwerdt im Herten
Schaust du mit Schmetzen
Herab auf deines Sones Todt. ¹³⁶

«Нет, нет, меня тогда не было», — говорит светлая красавица. Но кто же ты, и Верочка узнает, что она, т.е. божество, есть каждая любимая женщина. — «Тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай»... Тут беспощадная цензура наставила точек, а то каких бы чудес мы не наслушались. Но, всего вернее, эти точки выставлены автором-художником в замену кабалистически ¹³⁷ грозного — пустого мешка.

«Ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница (эмансипация женщин) будет царствовать над всеми? — смотри». — Громадное здание, каких теперь ни одного, среди нив и лугов. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья, такие зерна, как в оранжерее? «Сады лимонные, апельсиновые и персиковые (в средней России) на воздухе. О, да это колония вокруг них. Это сады, раскрывающиеся на лето». (А где ж печки? — спрашиваем мы). «Дворец — чугун и стекло, чугун и стекло — только». Нет, это только оболочки, а дворец внутри, и там все из алюминия. Группы, работающие на нивах, почти все поют. Ах, это они убирают хлеб. Почти все делают за них машины, люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. (Попробуйте-ко поработать при этих машинах и убедитесь, что тут не до пения!) День зноен, но им ничего. Над той частью нивы, где они работают, раскинут полог, который подвигается по мере успеха работы. Как они устроили себе прохладу! (А по-нашему, духоту: войдите под любой навес или палатку во время зноя. — Там дышать нельзя.) — И всё песни, всё песни.

Будем жить с тобой по-пански. ¹³⁸

«Но вот работа кончена, все идут к зданию. Посмотрим, как будут обедать — более 1000 человек — здесь не все; кому угодно, обедают особо у себя. Старики, старухи и дети, которые не выходили в поле, приготовили все это». — Или они рождаются не людьми,

а поварами, или нельзя есть их адской стряпни, несмотря на великолепную сервировку из алюминия и хрусталя и вазы с цветами. «Вошли рабочие и все, т.е. и старики и дети, садятся за стол». Кто же будет служить? Не нужно. Всего пять, шесть блюд: горячее поставлено в ящики с кипятком. Рабочие пришли грязные, пыльные — и прямо за стол. А кто же раздает порции по особым комнатам? «Обед великолепный и ничего не стоит отдельному лицу», а захотел лучше — «плати» — чем? «Все это русское — видишь невдалеке реку — это Ока». Но вот осень, зима, — из 2000 обитателей фаланстера осталось 20 чудаков, которым приятно оставаться на морозе — доить коров, давать корм по крайней мере 1000 животных. Действительно, чудачки. Да и проворные какие. Ведь им же и сад надо топить, и топлива для стариков-то наготовить, и набить такие громадные ледники. Но к ним будут зимой приезжать любители зимних прогулок — охотники таскать во вьюгу с гумна занесенную снегом солому и колоть лед (тогда много будет таких любителей!). «Но куда же это они уехали? В центр зауральской пустыни? — Да, мы в центре пустыни. Как же превращен песок в плодоносную почву? — «Да что ж тут мудреного? У них так много машин. Возили глину, она связала песок, а там навозили чернозему, и пустыня расцвела. Это в твоё время Новая Россия была около Херсона и Одессы, а теперь она здесь. С каждым годом, вы, русские, все дальше отодвигаете границу на юг, другие работают в других местах. *Всем и просторно и обильно*». Покорнейше благодарим красавицу на ласковом слове. Мы останемся где сидим, а уже глину-то возить пусть она найдет *тех, других*. Разумеется, и в Новой России тот же фаланстер. Вечерняя зала с электрическим освещением, вместительная на 3000 человек с оркестром в 100 человек — и женщины роскошно одеты. Это будничная вечер — рабочих людей». «Есть несколько дам...» Желание казаться дамой так засело в голове Верочки, что она и в фаланстере, где нет сословий — и даже во сне — не может от него отделаться. «Шумно веселится одна половина обитателей дворца. А где ж другие? Везде — в театре, в аудиториях, в библиотеке, или с своими детьми. Кто же знает, что они свои, а не чужие? Но больше, больше всего — это моя тайна. (Хороша тайна на глазах у всех!) Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза, ты видела, они уходили — это я увлекла их. Здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны не нарушимы, занавесы дверей, роскошные ков-

ры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я. Здесь я — цель жизни, здесь я — вся жизнь»¹³⁹. Уф! батюшки! Стоило ли выписывать всю эту переделку фаланстера на русский лад, о чем скажем впоследствии, со всеми залами, отдельными комнатами, коврами и занавесками, когда все это давно есть и нисколько не представляет прелести даже для молодежи, а один почтенный купец г. Островского выражается, что «когда человек войдет в настоящие лета, то ему все эти женские прелести — ничего — даже скверно»¹⁴⁰.

Через год новая мастерская устроилась, установилась, однако же выгода иметь на Невском магазин была очевидна — и затем появилась новая вывеска «Au bon travail. Magasin de Nouveautees»¹⁴¹. Кажется, чего бы лучше. Магазин так магазин! — Нет, не такие люди Кирсановы, чтобы делать что-либо спроста. Кирсанов говорил: *travail* значит «труд». Au bon travail — магазин, хорошо исполняющий заказы, не лучше ли заменить такой девиз фамилиею?» — Почему же лучше, когда и так дела идут хорошо? Кирсанов стал говорить, что «русская фамилия наделает коммерческого убытка». Вот и новое подтверждение изречения «Гони природу в дверь — она влетит в окно», вот вам и мнимое образование, — а как до дела дойдет, то из этих гениев торчат нелепые соображения, вследствие которых мы на Руси читаем: «Въ новъ приежій изъ Парижа военный и партикулярный портъ-ной Иванъ Серотыкинъ». Кирсанов придумал средство: его жену зовут Верой, по-французски вера (религия) *foi*; если бы на вывеске можно было написать вместо Au bon travail — A la bonne foi, то не было ли бы достаточно этого? (достаточно для чего?) Это бы имело самый *невинный* смысл (стало быть, может иметь и самый не невинный, которого вы только и добиваетесь, г. Кирсанов) — добросовестный магазин, и *имя* хозяйки было бы на вывеске»¹⁴². Так ли? — Нет, г. Кирсанов. Во-первых, мы знаем, что ваша Вера там не хозяйка и в том именно и поставляет всю гордость свою, что швейная действует самостоятельно без всяких хозяев, а, во-вторых, мы видим, что Кирсанов переводит словом *foi* — не Вера с прописным В, а с маленьким. Итак, вы бы желали дать почувствовать, что магазин A la bonne foi есть преимущественно орган нового — единственно хорошего верования. — Ваше желание исполняется — мы вас поняли.

Здесь мы встречаем письмо нового действующего лица Катерины Васильевны Полозовой к своей приятельнице Полине. Все письмо есть описание социалистических швейных с приложением их коммерческих счетов в доказательство неисчислимых выгод такой системы ¹⁴³. Избавляем и себя, и читателя от выписки этой чепухи и тут же оговоримся, почему мы, насколько было возможно, передавали содержание романа словами самого автора.

Во-первых, мы решительно и смиренно уступаем автору пальму своего рода искусства, которым он, без всякой неуместной *наглости*, вправе гордиться. Никто не сумеет при усиленном желании выразить серьезные и высоко поучительные истины — писать такие уморительные вещи. А во-вторых, передавая содержание своими словами, мы рисковали услышать возражение: «Он этого не говорит». Теперь такая отговорка невозможна, потому что все сокращено, но ни одна йота текста не изменена.

Кто же такая Катерина Васильевна, или Катя Полозова? Неужели опять с самой *грязной* лестницы или с Невского проспекта? Нет, Полозов был отставной ротмистр или штабс-ротмистр, но чтобы попасть в число *порядочных людей* нашего автора, прокутил большое родовое имение. Собрав последние крохи — тысяч 10 ассигнациями, он мелкой хлебной торговлей нажил снова порядочный капитал, женился на купеческом полумиллионе (все ассигнациями) приданого и лет через 10 стал миллионером на серебро. Жена умерла, и Полозов переехал в Петербург, где, любя единственную дочь Катю, не женился вторично. Опекунами брезгал, а казенные подряды брал. Тут-то, поссорившись с одним нужным человеком (такой задорный этот старый Полозов, точно молодой Лопухов), погорячился, обругал. Ему сказали: «покорись». — «Не хочу». — «Лопнешь». «А пусть, не хочу», — и лопнул — забраковали товар. У него осталась доля в стеариновом заводе, и он за хорошее жалованье сделался на нем управляющим. «Отец любил Катю и называл глупостями выправку талии, манер и все тому подобное — а в 17 лет читающая и мечтающая Катя стала худеть и слегла... У Полозова медиком был один из козырных тузов». Консилиумы при больной составлялись все из тузов. Консилиум решил, что Катя неизлечима, а потому надо сдать больную Кирсанову или одному из его друзей — *наглецов-мальчишек*. Когда все разошлись, Кирсанов сел у постели больной. Больная насмешливо улыбнулась. «Вы не хотите мне отвечать, вы молчите? Мое правило: *против воли человека не*

следует делать для него ничего; свобода выше всего, даже жизни». Видите ли, какой мастер говорить этот Кирсанов? Принадлежит к секте, желающей насильно ублагополучить род человеческий, он умеет, где нужно, сказать, что мы никому не благодетельствуем с ножом к горлу, а бессмысленную фразу о свободе, которая дороже жизни, он пускает перед m-lle Полозовой так, для красоты слога. Он сам хорошо знает, что мертвым не нужно ни свободы, ни рабства. «Вы влюблены, — но умирать от чахотки тяжело и долго, я готов вам помочь, готов вам дать яд — прекрасный, убивающий быстро, без страданий. Угодно вам на этом условии открыть мне ваше положение?»

«— Вы не обманете? — проговорила больная.

— Посмотрите внимательно мне в глаза, вы увидите, что не обману». Оказывается, что пустой, бессердечный фат, в которого влюблена Катя, тот Жан Солонцов, что ужинал в начале романа вместе с Жюли, Сержем и Сторешниковым. Отец, разумеется, против такого брака, а дочь от любви умирает. Как же быть? Съехался консилиум из самых высоких знаменитостей великосветской практики. Кирсанов объявил консилиуму, что он исследовал больную и нашел ее, подобно Карлу Федоровичу, неизлечимой, а агония этой болезни мучительна, поэтому он считает обязанностью консилиума *отравить* больную. «С таким напутствием он повел консилиум на новое освидетельствование больной. Консилиум исследовал, хлопая глазами, под градом черт знает каких непонятных разъяснений Кирсанова — а черт бы побрал этих мальчишек! и возвратясь в зал, положил: прекратить страдания больной смертельным приемом морфия». — Хорошо? Как вам, здравомыслящий читатель! нравится все это место? Что оно — более ли смешно, или гадко? Какими бессмысленными неуксами представлены высшие знаменитости петербургской медицины, которые даже не в силах понять научной терминологии Кирсанова, нарочно пускающего им пыль в глаза. Вы сами, здравомыслящий читатель, вероятно, лично знакомы с некоторыми из этих почтенных людей и знаете, что подобное предположение не менее как невинная клевета. Но, допустив, что воображаемые автором знаменитости невежественны и всегда готовы на убийство, никак нельзя допустить в них так мало осторожности, чтобы они решались по первому слову мальчишки совершать убийство *соборне*. Воля ваша! Это уже из рук вон. Из таких-то бесцеремонных нелепостей сшит весь роман. «Важнейший из

мудрецов (читай: дураков) грустно-торжественным языком и величественно-мрачным голосом объявляет отцу постановление консилиума. — Ошеломленный Полозов восклицает: «Не надо! она умирает от моего упрямства!» и соглашается на брак дочери с Соловцовым. Катя оживает. «Неужели вы в самом деле дали бы ей смертельный прием?» спрашивает Полозов Кирсанова.

— Еще бы! Разумеется, — совершенно холодно отвечает Кирсанов.

— Что за разбойник? Говорит, как повар о зарезанной курице.

— И у вас достало бы духу?

— *Еще бы на это не достало, что ж бы я за тряпка был?*

— Вы страшный человек! — повторял Полозов».

Кирсанов думал про себя: Показать бы тебе *Рахметова!*

«— Но как же вы повертывали всех этих медиков!

— Будто трудно повертывать *таких людей*, — с легкою гримасою отвечал Кирсанов». Как не гримасничать такому великому мальчишке! Кате позволяют принимать Соловцова, она убеждается в его негодности и сама ему отказывает — а все Кирсанов!

«Полозову захотелось продать завод компании, который не мог идти при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества»¹⁴⁴.

Хотя бы автор, написавший эти строки, остановился на них с вопросом: почему личные предприятия отдельных деловых людей у нас процветают, а большая часть акционерных обществ падают? Нет ли тут прямого указания на крайнюю необходимость единства инициативы в каждом предприятии? Не похолодел ли бы он к общественным мастерским и фаланстерам, где овцы предназначаются к блаженству без пастыря? Полозов нашел покупателя, у которого на карточке для *незнающих* стояло Charles Beaumont, а для знающих Чарльз Бьюмонт. Он был агент лондонской фирмы по закупке сала и *стеарина*.

«Отец Бьюмонта был выписан из Нью-Йорка крымским помещиком-прогрессистом для разведения в Крыму хлопчатника. Это уж всегда так бывает с подобными прогрессистами!» — говорит автор. Эка эти прогрессисты чудаки! подумать, что они из социалистов! «Бьюмонт увидел себя за обедом у Полозова только втроем, т.е. с отцом и дочерью. Бьюмонт стал часто бывать, потому что отец находил его *подходящею партией*. Бьюмонт старается развить Катю и успевает в том. Она без церемонии отправляется к холостому человеку одна на квартиру, когда он,

прищебив винтом машины руку, не был у них два дня. Бьюмонт интересуется Верочкой Кирсановой и самим Кирсановым, которых, несмотря на свое нью-йоркское происхождение, знает лучше Кати, знакомой с ними уже давно. Бьюмонт до окончательного предложения Кате объявляет ей, что уже был женат. Она отвечает, что слышала о его жене. — От кого? *может быть, от нее самой?* — *Может быть,* — отвечает Бьюмонт»¹⁴⁵. Но Катя до того уже развилась, что соглашается на брак с Бьюмонтом и на другой день даже везет своего жениха к его бывшей жене Верочке — Лопуховой-Кирсановой! — Как? восклицает читатель — так это опять подлог, да еще двойной. Женился человек от живой жены под фальшивым именем. Кажется, проделал все возможное и нечего опрашивать «*что делать?*» Остается возвратиться к первой жене. Позвольте — и это будет.

Кирсанов и Лопухов нанимают две смежных квартиры и растворяют двери. Тут уже происходит такая мистерия бессмыслицы, против которой и возражать невозможно, потому что ничего нельзя понять. Кто эта черная женщина, что она делает и какое ее значение — положительно не знаем. Конец романа напоминает того оптимиста, который, на всякое заявляемое ему безобразие, говорил: «Могло быть хуже». Когда ему сказали, что Эдип убил отца и женился на матери, он и тут остался верен оптимизму и повторил свое: могло быть хуже. — Помилуйте, но что хуже этого. — Он мог, — спокойно ответил оптимист, — убить мать и жениться на отце.

Передав содержание романа, мы хотим показать, в какой мере самобытны и новы доктрины, послужившие ему краеугольными камнями. Для наглядного доказательства, что эта прекрасная вера (доктрина) *bonne foi — des Nouveautés*¹⁴⁶ несколько не новость, а старая жвачка, за совершенной негодностью всюду с презрением выброшенного тряпья, предлагаем вкратце историю этого учения и печальную судьбу его во Франции.

Когда французская революция в своем движении разорвала все основы прежнего общественного устройства и подпала исключительно влиянию демагогов черни, когда громкая и напыщенная фразеология стала на место действительных и вечных интересов общества, когда дикие и невежественные страсти заменили собою здравомыслие и ту осторожную и сдерживающую

силу, без которой всякое политическое движение вперед обращается в бессмысленное кружение белки в колесе — тогда открылось вольное поприще для всевозможных общественных утопий. Известно, что всякая утопия отражает в себе нравственное состояние, страсти и стремления тех, кто в нее верит. Люди ограниченные, мало развитые тем более имеют влияние на чернь, тем более приходится ей по плечу, чем более выражают ее страсти и прихоти. После разгрома, последовавшего за 1789 годом и так быстро и совершенно изменившего общественное устройство Франции ¹⁴⁷, возникла несчастная мысль, что можно бесконечно перестраивать общество по любому идеалу, что стоит только забрать в руки правительство и тогда можно дать государству такое устройство, какое заблагорассудится; словом, что всякая партия, завладев правительством, может располагать интересами государства и общества исключительно в свою пользу. Когда установилась Французская республика и возвестила всеобщее равенство, демагоги черни очень скоро увидели, что это политическое равенство ни к чему им не служит, — и вот в 1796 году выступит Бабеф с своим знаменитым коммунизмом ¹⁴⁸, которому суждено играть во Франции столь кровавую роль. Мы говорим «знаменитым», потому что так называемый социализм есть не более как спутанная и сбивчивая варьяция на ту же тему, которая совершенно пришлась по темному смыслу парижского рабочего класса. Отвращение, возбужденное коммунизмом в первоначальном его явлении, заставляло его адептов тщательно скрывать его название, и повело к тому переодеванию и переработке, в которых он потом выступил в различных социалистических учениях. Здесь принял он смиренный вид, даже оставил претензию на насильственный переворот, назвавшись *мирной демократией*. Чтобы читатели поняли, почему коммунизм возбудил такое отвращение, мы постараемся из путаницы его учения отделить со всевозможной точностью существенные пункты.

В основании всей доктрины лежит темное и самому себе непонятное чувство всяческого равенства; затем она отрицает результаты всей прежней истории и даже всякую потребность какой бы то ни было истории. Человечество, по ее мнению, имеет самобытную мощь и может своею внутреннею, прирожденною силою заменить все эти развития и приобретения, которые мы, по нашему слабоумию, считаем необходимыми, не осмеливаясь настоящим образом подумать об ином устройстве общества. Посему не нужно

правительства, церкви, государства; семейство должно быть уничтожено, ибо порождает разъединение и наклонности, нарушающие гармонию братства, которая только одна может связывать людей, а потому становится источником всякого зла. Брак должен быть уничтожен, *«как несправедливое учреждение, обращающее в неволю то, что природа создала свободным, — обращающее тело в личную собственность, чрез что общинное владение и счастье делаются невозможными, ибо признано, что общинное владение не признает никакого рода собственности»*. Города должны быть уничтожены, все искусства брошены, ибо — «лежат вне людских потребностей». Высшее образование и отдельное воспитание сделать невозможным. «Так как для нации нет ничего бесполезнее блеска и слов — должно отнять у лживой науки всякий предлог для уклонения от общественных обязанностей; должно отнять у людей всякое стремление к какому либо личному счастью, кроме счастья общества. Так как земледелие и ремесла суть единственно настоящие кормильцы — то люди, по закону природы, призваны исключительно заниматься ими. Материализм, будучи непреложным законом природы, на котором все зиждется, должен быть общепринятой истиной. Существование больших городов есть признак болезни общественной жизни: «чем населеннее город, тем многочисленнее слуги, голодные писаки, музыканты, танцовщики, духовные, воры и т. п. Само собою разумеется, что владение должно быть общинным».

Остаток здравого смысла, однако ж, показывал коммунистам, что хотя с уничтожением личной собственности и установится равенство, но это равенство будет только матерьяльным, а вовсе не умственным. Для избежания этого коммунизм решает, что не должно быть людей, отличающихся познаниями или образованием, никакой науки, никакой умственной жизни, а для осуществления этого все дети должны получать одинаковое воспитание, в котором ничему не учить, кроме чтения, письма, счета, истории и законов республики, слегка ее географию и статистику. Как и Руссо ¹⁴⁹, коммунизм объявляет, что усовершенствование наук и искусств есть зло. А чтобы сохранить учение во всей его чистоте, учреждается строжайшая цензура для сдерживания прессы в духе вышеозначенных начал — и всякое посягательство отклониться от них должно быть строжайше наказано.

Бабеф распространял это учение посредством речей и журналов и наконец устроил тайное общество, так что мог рассчитывать

на несколько тысяч людей, готовых приступить к приведению в исполнение всей неслыханной нелепости доктрины. Они готовы были к восстанию, но директория вовремя арестовала Бабефа и главных коноводов. Суд присяжных приговорил Бабефа к смертной казни, и коммунизм был, по-видимому, подавлен.

Ужас и омерзение, с коими был он встречен в своем первоначальном явлении, заставил его последователей избегать этого названия, но почва, к которой он привился, сама по себе не перестала существовать; напротив, с развитием фабрик и промышленности она росла и умножалась. Этою почвою был ремесленный пролетариат. А как мы уже заметили, коммунизм совершенно соответствовал страстям и невежеству рабочего класса, явились попытки придать этому учению более приличный и цивилизованный вид, и одной из таких попыток был фурьеризм. Но он никогда не имел успеха между парижскими работниками. Отвлеченный, спутанный своею непонятною терминологией и даже космогонией, с своими специальными воззрениями на историю и природу, — он требовал адептов более развитых и грамотных, так что парижский работник мог в нем понимать очень немногое.

Основная мысль доктрины Фурье та же, что и в коммунизме, только прикрытая более приличною одеждою, и состоит в том, что назначение человека на земле есть *счастье*, но что счастье невозможно без богатства. И вот он начинает перестраивать природу и историю сообразно с своими целями, добирается до настоящего времени и, находя, что не все счастливы, подвергает жестокой критике современное общественное устройство, называя его в насмешку *цивилизованным*. Чтоб сделать всех людей счастливыми, Фурье полагает, что для этого надо сделать их богатыми, а так как труд есть единственный источник богатства, то надо как можно более увеличить производительность труда. Средство для этого — сделать труд привлекательным, или, как он называет, «гармоническим», т.е. общинным; все ремесла делятся по сериям, каждая серия соответственно оттенкам того же ремесла разделяется на группы, а все группы серий составляют фалангу (в 2000 человек), в которую вступают чувствующие влечение к какой-либо из отраслей промышленности. Каждая фаланга устраивает себе здание — фаланстер, под управлением одного человека унарха. Правители двух-трех и т.д. фаланстеров носят название дуархов, триархов, и кончают — правителем всех фаланстеров земного шара, омниархом.

Любопытно положение женщин в предполагаемых фаланстерах, и мы нарочно с некоторой подробностью извлекаем его из главного сочинения Фурье (*Théorie des quatres mouvementys*. 1808. р. 169¹⁵⁰), надеясь оказать тем услугу дамам, сочувствующим направлению «Современника»: «Свобода любовных отношений превращает большую часть наших пороков в добродетели, равно как и большую часть наших вежливостей (*gentillesse*) в пороки.

Любовная связь будет делиться на несколько степеней. Из них главнейшими будут следующие три:

1. *Возлюбленные*, носящие это название (*favoris et favorites*).

2. *Производители* и производительницы (*génitents et génitrices*).

3. *Супруги* (*époux et épouses*).

Последние должны иметь друг от друга по крайней мере двух детей. Вторые имеют не более одного, а первые вовсе не имеют друг от друга детей.

Женщина может одновременно иметь:

1. Одного *супруга*, от которого имеет двух детей.

2. Одного *производителя*, от которого имеет только одного ребенка.

3. Одного *возлюбленного*, с которым жила прежде и за которым этот титул остается, кроме простых любовников, не имеющих значения перед законом.

Такой градацией титулов достигается высокая степень утонченной вежливости и внимательности к установившимся отношениям. Женщина вправе отказать возлюбленному, от которого беременна, в титуле производителя; равным образом, имея причины к неудовольствию, она вправе отказать различным близким ей мужчинам в высших титулах, которых бы они могли искать». То же право предоставляется и мужчинам «в отношении их различных женщин». Такие отношения между мужчиной и женщиной Фурье называет прогрессивным сожитием (*ménage progressif*). В таком (гармоническом) состоянии, по уверению Фурье, люди будут есть втрое более и оно продолжится 35 тысяч лет. Устройство одного такого фаланстера будет, уверяет Фурье, для людей столь соблазнительно по неисчерпаемым выгодам и счастью его «гармонических» работников, что по образцу его тотчас же станут устраиваться другие, и таким образом Европа и другие части света покроются фаланстерами. В доказательство неисчислимых выгод такого всеобщего устройства

Фурье приводит возможность заплатить весь государственный долг Англии в течение 6 месяцев одними куриными яйцами.

Полагая, что читателей позабавит эта великая финансовая операция, выписываем ее в подробности из сочинения Фурье (*Traité d'association*, p. 492 ¹⁵¹):

«Не миллионами, а миллиардами считаться будут мелкие доходы, на которые мы теперь почти не обращаем внимания. Например, куриные яйца будут играть великую роль и разрешат задачу, перед которою бледнеют самые ученые финансисты Европы. Они знают только, как увеличивать массу государственных долгов. Одним полугодовым сбором яиц, не трогая кур, мы уничтожим громаду английского государственного долга, и это, не только без малейшего отягощения, напротив, для земного шара это будет детскою забавой.

Прилагаем расчет с арифметическою точностию. Задача состоит в том, чтобы 25 миллиардов выплатить куриными яйцами. Начнем с определения действительной цены яиц. Я ценю их по 10 су или по полуфранку за дюжину, если свежесть их удовлетворительна и они той величины, как несут куры из Саух; но в «гармонии» объем их увеличится, потому что развитие куриной породы непосредственно воспоследует за развитием человеческой.

Итак, полагая дюжину больших, свежих яиц от искусственно выведенных кур по полуфранку, нам нужно 50 миллиардов дюжин яиц для уплаты английского долга. Как же велико может быть количество яиц в 600,000 фалангах?

Курица, это бесценное пернатое животное, есть всесветный гражданин между птицами. Она при некотором уходе может акклиматизироваться везде, как в песках Египта, так и во льдах Севера; я докажу, что куриный двор одной фаланги может содержать по крайней мере 10 тысяч кур, несущих яйца, не считая цыплят, которых количество может быть в 20 раз более.

Мы считаем, что каждая курица несется 200 дней в году. В «цивилизованном» состоянии, может быть, не столько, но известно, что при заботливом уходе, легкой теплоте печей и обильной пище, особенно при замене насиживания устроенными для этого печами — несенье яиц из 365 дней в году может наверное доведено быть до 200, не считая некоторых двоень (*les binages*). И теперь уже хорошо содержимые куры благородной породы кладут иногда по два яйца ежедневно. Чтобы сделать расчет просто и без ошибки, подобно хорошей хозяйке, предположим, что вместо

10 тысяч, куриный двор одной фаланги будет иметь 12 тысяч несущихся кур. Тогда ежедневно имеем мы: тысячу дюжин яиц по $\frac{1}{2}$ франку — 500 франков.

Это число, помноженное на 200 дней, дает ежегодное количество яиц в одной фаланге — на 100,000 франков, а в 600,000 фалангах даст на сумму 60 миллиардов.

Но как для облегчения счета десятичными числами мы поставили 12 тысяч кур в фаланге вместо 10 тысяч, то, откинув $\frac{1}{6}$, получим сумму в 50 миллиардов, половина которой и составляет государственный долг Англии».

Но, несмотря на такие приманки будущего благополучия, умерительная нелепость доктрины так явно бросалась в глаза, что не находилось охотников пожертвовать чем-нибудь на сооружение образцового фаланстера. Как ни старались учителя фурьеризма, отбрасывая все курьезы доктрины, представить ее в наилучшем виде, люди с состоянием, на которых они преимущественно рассчитывали, и рабочий класс, подсмеиваясь над нею, оставались к ней совершенно равнодушны. Виноват! — были, помнится нам, некоторые попытки: нашлось несколько слабоумных, решившихся на денежные жертвования, но устроенный ими фаланстер вскорости распался сам собою¹⁵². Положено было ограничиться одною пропагандою доктрины посредством журнала и брошюр.

Независимо от такого очевидно нелепого решения вопросов, вопросы о какой-то романической, сентиментально-идеальной демократии в связи с пролетариатом и социализмом сделались во Франции сороковых годов модными. Мы называем их модными, потому что легкомысленные и искавшие популярности люди только рядились в них, не давая себе отчета, к чему ведут подобные учения и в чем собственно состоит социализм.

Вся почти оппозиционная журналистика и литература были на стороне социализма и пролетариата. Каждый *мыслитель* (*reenseur*) носил в кармане готовый план преобразования труда и общества. Не забудем, что это происходило во время кроткого, гуманного правительства Людовика Филиппа и Франция пользовалась полною свободою печати¹⁵³. К несчастью, в самом обществе еще не успели установиться определенные политические понятия; все было шатко, тревожно, и Париж еще считал себя всею Францией. (Последствия показали, как он жестоко должен был в этом разочароваться.) В литературе, начиная с Жорж Занд, всякий романист, искавший популярности, непременно

пропитывал свое произведение демократически-социальным направлением. У нас еще в памяти идеальные рабочие Жоржа Занд ¹⁵⁴. Всюду проводился контраст благороднейшего работника и подлейшего собственника. Собственник, заклеянный названием *bourgeois* и *épicier* ¹⁵⁵, предавался всеобщему поруганию. Легкомысленная молодежь, даже достаточная, не говоря уже о бедных проходимцах, считала долгом, рисуясь, выдавать себя за социалистов. В ее глазах одинаково стыдно было прослыть за *bourgeois* и *épicier* или за человека, не враждебного правительству. Замечательно, что в этом легкомысленном и в то же время жадном к приобретению обществе авторитет правительства и интересы общественного порядка были ничтожны. Деловая и благоразумная часть общества, не давая себе труда проникнуть в сущность дела, смотрела на все это брожение, считая социализм не более как филантропией, а его утопии — невинным младенческим легкомыслием. Мы забыли сказать, что журнал фурьеристов ¹⁵⁶ не столько занимался разъяснением своего учения, сколько критикой и постоянными нападками на общественное устройство. Если фурьеризм как доктрина и не имел никакого значения между рабочим населением, зато постоянные его нападки на общественное устройство не остались без плодов. С его голосу явились люди, исключительно посвятившие себя пропаганде между рабочим населением ненависти к существующему общественному порядку, доказывавшие, что бедность единственно происходит от несправедливого устройства общества, что всякая мирная сделка с правом собственности есть пустое заблуждение и что демократически-социальная революция есть единственный путь к благоденствию. В этой пропаганде школьные учителя принимали самое деятельное участие. К концу 1847 года все рабочее население Парижа было пропитано этими учениями, а так как социализм, собственно говоря, представлял только критику общественного устройства, а не какую-либо систему, способную заменить его, то естественно возвратились к старому коммунизму, который в основных чертах совершенно соответствовал общему направлению социализма.

Один из наших знакомых рассказывал нам ¹⁵⁷, что, будучи в Париже в 1846 году, он познакомился там с одним из пропагандистов социализма, который доставил ему случай побывать на одном из тайных собраний работников. «Мы поднялись, — рассказывал он, — с потайным фонарем в шестой этаж (лестница не

была освещена), знакомый мой постучался в дверь и произнес какое-то слово, вероятно пароль, и нам открыли. На большом чердаке, который, по-видимому, служил мастерской, было человек 50 мужчин и между ними несколько женщин. Все были одеты довольно бедно, большею частью в блузах. Председателем собрания был какой-то мастеровой. Начались речи. Говорившие сменялись, но не возражали друг другу, ибо все говорили в одном и том же духе. Все выражали невыносимость существующего порядка, говорили, что прежние революции им не принесли никакой пользы и что они пошли впрок только одним богатым. Знакомый мой принимался говорить несколько раз. Он, очевидно, был чем-то вроде учителя и руководителя этих бедных и темных людей; указывал, как богатые эксплуатируют бедных; что всему злу причиной собственность и большие города как центры капитала и богатства, словом, это были фразы постоянно тогда встречавшиеся в социалистических брошюрках и журналах».

Как ни была свободна печать при Людовике-Филиппе, но все же нельзя было в журналах открыто призывать к восстанию, да и ремесленникам некогда было читать их, потому и роль распространителей между рабочим населением этих учений и брали на себя люди, подобные этому пропагандисту. В речах своих он указывал на необходимость социальной революции, от которой обещал работникам всевозможные блага. Удивительно, как деловое и благоразумное население Парижа (потому что социализм собственно гнезвился в Париже и там вербовал свою армию между рабочим населением) не предвидело опасности. В таком положении застал Париж 48 год. Легкомысленная оппозиция устраивала свои реформистские банкеты, нисколько не помышляя не только о республике, но даже о какой бы то ни было революции. Но движение при криках «*vive la réforme*»¹⁵⁸ неожиданно для всех разыгралось падением династии, и национальная гвардия, ставшая между войском и чернию, вдруг увидела себя лицом к лицу с своим настоящим врагом. Вообще трудно себе представить революцию более бессмысленную по причинам и следствиям. Все еще помнят, как с первых же дней революции резко обозначился антагонизм между рабочим населением и собственниками. Достаточно напомнить читателям заседания рабочих в Люксембургском дворце под председательством Люи Блана¹⁵⁹, — выдачу от правительства до 6 миллионов франков на устройство так называемых национальных мастерских и присутствие работника, в

качестве члена, в совете министров. Антагонизм двух враждебных партий постепенно возрастал и кончился трехдневной кровавой битвой июньских дней ¹⁶⁰. Только крайним легкомыслием или, вернее, литературным пустомыслием доктринеров социализма можно объяснить то обстоятельство, что они, рассчитывая на один только класс городских, преимущественно парижских, мастеровых, думали низвергнуть все основы существующего порядка, не догадываясь даже о том, до какой степени их учения противны были огромному большинству французских крестьян-землевладельцев, не говоря уже о высших и средних классах. У многих, вероятно, осталось в памяти то остервенение, с которым начали тогда преследовать людей за малейшее подозрение в социализме. Только тогда легкомысленные прогрессисты поняли, к чему ведет это учение. Без суда расстреливали десятками бедных работников, провинившихся только слепым доверием к своим вожатым ¹⁶¹. Только социализму и ничему другому приписываем мы тот роковой перелом в постепенном движении Франции, который продолжается по сие время.

Изложив главнейшие основания и печальную судьбу этих доктрин в одной Франции, так как в других европейских государствах роль их была более чем ничтожна, мы невольно приходим к вопросу, какое существенное приложение может вся эта галлюцинация найти в нашем отечестве?

Русская земля разделена между миллионами поземельных собственников, приведенных тысячелетней историей через ряд тяжелых испытаний к такому отрадному результату. Кроме собственников в России нет народонаселения — нет пролетариата, за ничтожным исключением ремесленников обоого пола, проживающих в столицах. Да и за большую их частью, независимо от свободного их выбора того или другого ремесла, стоит где-либо — недвижимая собственность. Не принимая даже в соображение практического смысла и консервативного духа нашего простолудина, с одной стороны, и бессмыслия пропаганды, с другой, ввиду подобного отношения народа к собственности, можно быть уверену, что такое учение не примется на нашей почве. Укажите хотя на один класс нашего народонаселения, в интересах которого могла бы быть желательна социальная революция. Положительно — ни одного, исключая тех авгуров-переребжчиков ¹⁶², которые, поверхностно хватив книжной премудрости на чужой счет, мучительно хотели бы на чужой же счет

иметь ложу у итальянцев и доставлять сливки в постели развращаемых ими женщин.

Но целый народ не пойдет ломать себя в угоду теории эгоизма Лопуховых и Кирсановых. Вот причины, по которым социализм, несмотря ни на какую свободу печати, никогда не осмелится у нас высказаться во всей своей цинической полноте, а будет, подобно улитке, по временам выставляя свои рожки-щупальцы. Только раз, при самом своем разгаре, высказался он всесторонне в романе «Что делать?», и только поэтому мы сочли своим долгом поговорить об этом произведении. Но не менее, если не более, вредна и теперешняя сдержанность адептов социализма. Они поняли нравственную невозможность явиться открыто с их доктриной во всем ее систематическом безобразии. Крикните у нас кому хотите: пойдём в фаланстер, уплачивать английский долг куриными яйцами, — всякий захочет. И вот они приняли систему более верную и безопасную — выставлять отдельные члены безобразного тела, оставляя за собой возможность отрицания солидарности этих членов с уродливым целым. Они хорошо понимают положение вещей. Государство положительно сказало каждому из своих граждан: «Вот тебе больший или меньший клочок земли. Не надейся ни на руки рабов, ни на какие-либо индустриальные привилегии. Я берусь оградить твой мирный и законный труд от насилия и вторжения чужого произволу, а инициативу и средства к благосостоянию ищи в себе самом».

«Ну, как все эти миллионы людей, — говорят социалисты, — поняв окончательную нелепость всевозможных претензий, с удвоенною энергией займутся своим насущным делом. Чего тогда ожидать социализму, кроме общего презрения? Надо всеми мерами противодействовать такому исходу дела». И вот они стараются под видом огульного порицания всего существующего и, что всего сильнее, под видом всеобщего равенства отстаивать особенные права в государстве отдельных народностей и сословий, травливая таким образом — народ на народ, сословие на сословие и даже поколение на поколение. Они понимают, что при настоящем положении вещей, где каждая частная деятельность предоставлена личной инициативе, благосостояние отдельного семейства более чем когда-либо зависит от серьезного понимания женщинами священных и трудных обязанностей хозяйки-матери. Какого еще там женского труда добиваться, когда дай Бог справиться с тем, который ежедневно, ежеминутно представляется

хозяйке-матери. В том-то и состоит главная задача социалистов, чтобы, наполнив головы женщин нелепостями, отвратить их от прямых обязанностей и тем внести смуту в семейства, подобно тому, как оно вносится в другие части государственного организма. Замечательно, что в романе «Что делать?» ничего не говорится о детях. О рождении сына у героини Верочки сказано вскользь, да и то только тогда, когда ребенок не мог уже помешать ее двумужеству. Правда: «дети не предполагаются». Кончая нашу беседу с читателем, сознаемся в своего рода нигилизме. Мы совершенно равнодушны к могущей подняться против нас буре нареканий и ругательств. Там, где цинически поносятся имя Пушкина, покойника, нечего останавливаться перед подобными выходками.

Спрашиваем только себя: в чем могут обвинить эту статью? В разоблачении тайны пропаганды? Помилуйте, какая же это тайна, разнесенная и разносимая десятками тысяч печатных экземпляров. Для кого существует эта тайна? Для цензора? Но мы знаем его скромное положение. Если же нас обвинят в открытой борьбе с деспотизмом демагогов, то такое обвинение мы готовы принять с радостью. Да, мы открыто не желаем смут и натравливаний одного сословия на другое, где бы оно ни проявлялось: в печати ли, на театре ли, посредством изустных преподаваний и нашептываний. Мы не менее других желаем народного образования и науки, только не по выписанной нами обскурантной программе социалистов, способной только сбить человека с врожденного здравомыслия. Нам больно видеть недоверие сознательных элементов общества к публичному воспитанию. Наравне с другими мы чувствуем необходимость незыблемых гарантий свободному и честному труду. Для нас очевидна возрастающая потребность в серьезном содействии женского труда на поприще нашего преуспеяния. Чем скорее и яснее поймут они всю гнусность валяться целый день в постели и пить сливки, заставляя мужа, кроме тяжелых забот о насущных нуждах семейства, заваривать им чай,— тем лучше. Пусть они серьезно и полезно трудятся, но только не в фаланстере.

